Свет погас

Автор:
Редьярд Киплинг

Свет погас

Редьярд Джозеф Киплинг

«…Однажды осенью судьба подарила ему товарища по несчастью, маленькое длинноволосое сероглазое существо, такое же сдержанное и замкнутое, как и он сам, безмолвно бродившее по дому и первое время разговаривавшее только с одной козой, ее единственным другом, пребывавшем в дальнем конце сада. Мистрис Дженнет хотела изгнать козу из сада, потому что она нехристь, что, конечно, было неоспоримо верно, но маленький атом энергично запротестовал…»

Редьярд Киплинг

Свет погас

* * *

I

– Ну, как ты думаешь, что она сделает, если поймает нас? Нам не следовало бы делать этого, Дик, – сказала Мэзи.

– Меня побьет, а тебя запрет в спальне, – не задумываясь, ответил Дик. – Патроны у тебя?

– Да, они у меня в кармане, и страшно трясутся; они не могут сами собой взорваться?

– Не знаю. Если ты боишься, возьми револьвер, а патроны дай мне.

– Я вовсе не боюсь. – И Мэзи быстро побежала вперед, засунув руку в карман и откинув голову назад. Дик следовал за ней с маленьким, дешевеньким револьвером в руке.

Эти дети решили, что жизнь их будет невыносима, если они не научатся стрелять из пистолета, и вот, после долгих размышлений и всяких лишений, Дик скопил семь шиллингов и шесть пенсов на покупку плохонького бельгийского револьвера. Мэзи, со своей стороны, внесла в синдикат полкроны на приобретение сотни патронов.

– Ты лучше меня можешь копить деньги, Дик, – пояснила она, – я люблю всякие лакомства, а ты к ним равнодушен; а кроме того, такие вещи всегда должны делать мальчики.

Дик поворчал слегка, но тем не менее пошел и купил что нужно, и теперь они собирались испробовать свою покупку. Стрельба из револьвера не входила, конечно, в программу их повседневных занятий, выработанную для них их опекуншей, которая, как ошибочно предполагали люди, заменяла мать этим двум сиротам. Дик уже шесть лет находился на ее попечении, и за это время она удерживала в свою пользу те деньги, которые якобы расходовались ею на его платье и содержание, и, отчасти по беззаботности, а частью по прирожденной склонности причинять огорчение, эта немолодая вдова, страстно желавшая выйти замуж, изрядно отравляла ему жизнь. Там, где он искал ласки и любви, он находил сперва отвращение, а затем ненависть, а когда он подрос, и душа его запросила сочувствия, то встретила вместо него насмешки и обиды. Те часы досуга, что оставались у нее от хозяйственных забот и хлопот по дому, она посвящала тому, что она называла домашним воспитанием Дика Гельдара. Религия, которую она истолковывала применительно к своим личным соображениям, немало помогала ей в этом деле. Когда она лично не имела основания быть недовольной Диком, она давала ему понять, что его жестоко

накажет Творец, и вследствие этого Дик возненавидел Бога, так же как ненавидел мистрис Дженнет, а это весьма нежелательное состояние духа для ребенка. Так как она упорно хотела видеть в нем неисправимого лгуна после того, как он, побуждаемый страхом побоев и наказаний, впервые прибегнул к неправде, то мальчик невольно и превратился в лгуна, но в лгуна осмотрительного и бережливого, никогда не прибегавшего без надобности даже к самой пустячной лжи, но, с другой стороны, не задумывавшегося ни на минуту даже перед самой ужасной ложью, будь она хоть сколько-нибудь правдоподобна и вероятна, если ложь могла облегчить хоть немного его жизнь. Такое воспитание научило Дика жить обособленной, замкнутой жизнью, что ему весьма пригодилось, когда он стал ходить в школу, где мальчики смеялись над его одеждой, сделанной из плохонькой материи и во многих местах подштопанной. По праздникам он возвращался к мистрис Дженнет, и не проходило полсуток со времени его возвращения под ее кров, как он уже был бит, по той или иной причине, для того чтобы дисциплина домашнего воспитания не ослаблялась под влиянием общения с внешним миром.

Однажды осенью судьба подарила ему товарища по несчастью, маленькое длинноволосое сероглазое существо, такое же сдержанное и замкнутое, как и он сам, безмолвно бродившее по дому и первое время разговаривавшее только с одной козой, ее единственным другом, пребывавшем в дальнем конце сада. Мистрис Дженнет хотела изгнать козу из сада, потому что она нехристь, что, конечно, было неоспоримо верно, но маленький атом энергично запротестовал.

– В таком случае, – сказал маленький атом, взвешивая каждое свое слово, – я напишу моим опекунам, что вы очень скверная женщина. Амомма моя, моя и моя!

Мистрис Дженнет направилась было в прихожую, где стояли в углу зонтики, трости и палки, и маленький атом сообразил так же быстро, как Дик, что означало это движение.

– Я была бита и раньше, – сказал атом все тем же спокойным и бесстрастным голосом. – Я была бита сильнее, чем вы можете побить меня, но если вы ударите меня, то я напишу моим опекунам, что вы не даете мне есть! Я вас ничуть не боюсь.

М-с Дженнет не пошла в переднюю, и атом, выждав немного, чтобы убедиться, что всякая опасность миновала, вышел в сад, чтобы выплакать свое горе на шее

у Амоммы.

Вскоре Дик узнал, что ее зовут Мэзи, и первое время относился к ней с большим недоверием, опасаясь, чтобы она не помешала той небольшой свободе действий, которая была предоставлена ему. Однако опасения его не оправдались, и атом не напрашивался к нему в друзья до тех пор, пока он сам не сделал первого шага к сближению. Еще задолго до окончания каникул длинный ряд наказаний, понесенных совместно, сблизил детей; вместе придумывая разные увертки, чтобы обмануть м-с Дженнет, они невольно действовали заодно и выгораживали друг друга. И когда Дик уезжал в свое училище, Мэзи, прощаясь, шепнула ему:

– Теперь я останусь одна, и некому будет постоять за меня, но, – и она гордо вскинула головку, – я и сама сумею, – добавила она. – Ты обещал прислать Амомме ошейник, пришли же скорее!

Спустя неделю она опять спросила про ошейник и осталась весьма недовольна, узнав, что его не так-то скоро можно изготовить. А когда Дик, наконец, прислал обещанный подарок, то она забыла поблагодарить его за него.

С того времени много раз наступали и кончались каникулы. Дик вытянулся и превратился в тощего, долговязого подростка, более чем когда-либо болезненно сознающего всю неприглядность своего костюма. М-с Дженнет ни на минуту не ослабляла своих нежных забот о нем, но обычные наказания закрытых учебных заведений – а Дик подвергался им раза три в месяц – преисполнили его высокомерного презрения к карательным способностям г-жи Дженнет.

– Она бьет небольно, – пояснял он Мэзи, которая подстрекала его к возмущению, – а к тебе она становится ласковее, после того как поколотит меня.

Дик рос внешне неопрятный и неряшливый и внутренне одинокий и озлобленный, что весьма скоро заприметили его младшие товарищи, потому что он под горячую руку бил их исподтишка больно и обдуманно; не раз он пробовал дразнить и Мэзи, но девочка упорно отказывалась поддаваться его желанию сделать ей неприятность.

– Мы и так несчастны оба, – говорила она, – к чему же нам стараться еще более ухудшить нашу жизнь? Лучше давай придумаем, чем бы нам заняться, чем развлечь себя.

И результатом таких размышлений явился револьвер. Стрелять из него можно было только на самой болотистой отмели, далеко от пристани и купален, у подножья зеленых холмов форта Килинг. В этом месте прилив покрывал песок без малого на две мили, и разноцветные кучи ила, прогретые солнцем, издавали неприятный тяжелый запах гниющих водорослей. Было уже поздно, когда Дик и Мэзи пришли на отмель, а за ними не торопясь трусила Амомма.

– Фи! – воскликнула Мэзи, втянув воздух, – удивляюсь, отчего это море издает такой запах. Мне он ужасно противен!

– Тебе противно все, что не специально для тебя создано, – проворчал Дик. – Дай мне патроны, я попробую выстрелить первый. Интересно знать, далеко ли бьют эти маленькие револьверы.

– О, на полмили, вероятно! – живо ответила Мэзи. – Во всяком случае, треск от них ужасный. Будь осторожен с патронами; мне положительно не нравятся эти штучки по краям барабана… Смотри, Дик, будь осторожен!

– Ладно, я знаю, как заряжать. Я буду стрелять туда, в буруны.

Он выстрелил, и Амомма с жалобным блеяньем убежала прочь. Пуля взметнула фонтан грязи вправо от старой, обвитой водорослями сваи.

– Бьет слишком высоко и вбок. Теперь попробуй ты, Мэзи. Помни, что он заряжен.

Мэзи взяла револьвер, осторожно приблизилась к самому краю тины и ила, держа палец на спуске и слегка скривив рот и прищурив левый глаз, стала целиться. Дик, присев на бережку, посмеивался, глядя на нее. Амомма осторожно приближалась; она привыкла ко всякого рода неожиданностям во время этих вечерних прогулок и, видя, что коробка с патронами осталась открытой, стала обнюхивать ее. Мэзи выстрелила, но не видела, куда попала пуля.

– Мне кажется, что я попала в сваю, – сказала она, заслоняя рукой глаза и вглядываясь в даль безбрежного моря.

– Я знаю, что она попала в колокол на Маризонском балконе, – хихикнув, сказал Дик. – Стреляй ниже и левее, тогда, может быть, попадешь. Ах, смотри, Амомма ест патроны!

Мэзи обернулась с револьвером в руке как раз вовремя, чтобы увидеть Амомму удирающей от камней, которыми в нее швырял Дик. Нет ничего святого для избалованной козы! Хорошо упитанная и боготворимая своей госпожой, Амомма из озорства проглотила два патрона, но Мэзи это казалось невероятным, и она поспешила удостовериться, что Дик сказал правду.

– Да, она действительно проглотила две штуки. Противное создание! Теперь эти патроны будут болтаться у нее в животе и чего доброго взорвутся, и поделом ей!.. О, Дик! Неужели я тебя убила?

Револьвер далеко не безопасная вещь в руках молодежи; Мэзи не могла себе объяснить, как это случилось, но вдруг густое облако дыма заволокло Дика, и ей казалось, что револьвер разрядился прямо ему в лицо. Но вот она услышала его бормотанье и кинулась на колени подле него, восклицая:

– Дик, ты не ранен? Нет? Я не хотела этого.

– Ну, конечно, ты не хотела, – сказал Дик насмешливо, появляясь из облака и обтирая себе щеку. – Но ты чуть не ослепила меня. Этот порох страшно жжется.

Хорошенькое, маленькое, серое пятнышко расплющенного свинца на камне указывало, куда именно попала пуля. Мэзи захныкала.

– Перестань! – остановил ее Дик, вскочив на ноги и отряхиваясь. – Я ни чуточки не ранен.

– Да, но я могла убить тебя! – возразила Мэзи, причем углы рта ее опустились книзу и дрожали. – Что бы я тогда стала делать?

– Ты пошла бы домой и рассказала обо всем мистрис Дженнет, – усмехаясь ответил Дик, мысленно представляя эту картину. – Но прошу тебя, не сокрушайся об этом, – добавил он более мягко. – Мы только даром тратим время, а ведь мы должны вернуться к чаю. Дай-ка мне на минутку револьвер.

Мэзи еще долго бы прохныкала при малейшем поощрении, но равнодушие Дика, рука которого, однако, сильно дрожала, когда он брал револьвер, успокоило ее. Она все еще продолжала всхлипывать, лежа на песке, а Дик методично расстреливал буруны над сваями.

– Попал, наконец! – воскликнул он в тот момент, когда небольшой клочок водорослей отлетел от старой сваи.

– Дай мне пострелять, – повелительно сказала Мэзи, – я теперь совсем успокоилась.

И они принялись стрелять по очереди до тех пор, пока плохонький револьвер чуть не рассыпался на части, а изгнанная Амомма, которая могла ежеминутно взорваться, пощипывая травку на почтительном расстоянии, дивилась и не понимала, почему в нее все время бросали камнями, не позволяя ей подойти ближе. Потом они нашли банку, плававшую на поверхности небольшого озерка или лужи, и уселись перед этой новой мишенью.

– В следующие каникулы, – сказал Дик, – мы приобретем другой револьвер, центрального боя, – те бьют гораздо дальше.

– В следующие каникулы меня уже не будет здесь, – ответила Мэзи. – Я скоро уеду отсюда.

– Куда?

– Не знаю. Мои опекуны писали мистрис Дженнет, что я должна воспитываться где-то, может быть, во Франции, – точно не знаю, но я буду рада уехать отсюда.

– Ну а мне это совсем не нравится. Меня, я полагаю, оставят здесь. Послушай, Мэзи, неужели это действительно правда, что ты уедешь, и эти каникулы я вижу тебя в последний раз? А на будущей неделе я должен вернуться в школу! Я хотел бы…

Кровь прилила к его лицу, а Мэзи срывала травинки и бросала их в желтую водяную кувшинку, покачивающуюся на воде тинистого озерка.

– Я хотела бы, – сказала она после непродолжительного молчания, – опять когда-нибудь увидеть тебя. Ведь и ты этого хотел бы?

– Да, но было бы лучше, если бы… если бы ты застрелила меня там, у свай…

Мэзи с минуту смотрела на него широко раскрытыми глазами. Неужели это тот самый мальчик, который десять дней тому назад украсил рога Амоммы бумажными фигурами и папильотками и выгнал ее в таком виде на улицу на посмешище публике? И она опустила глазки: нет, это не тот мальчик.

– Не говори глупостей, – наставительно сказала она и с чисто женским инстинктом свернула в сторону. – Видишь, какой ты эгоист! Ты подумай только, что бы было со мной, если бы эта проклятая безделушка убила тебя! Я и так уж достаточно несчастна!

– Почему? Потому, что ты уезжаешь от мистрис Дженнет?

– Нет.

– Ну, так от меня?

Долго не было ответа. Дик не смел взглянуть на нее. Он теперь живо чувствовал, чем для него были эти четыре года, и чувствовал это тем острее, что не умел и не мог выразить своих чувств словами.

– Не знаю, – протянула она, – но я полагаю, что так.

– Мэзи, ты должна знать! Я не предполагаю, я знаю!

– Пойдем домой, – слабым голосом промолвила Мэзи, поворачиваясь, чтобы идти.

Но Дик не согласен был отступать.

– Я никогда не умею сказать, что надо, – сказал он, – и мне ужасно жаль, что я дразнил тебя тогда с Амоммой. Но теперь совсем не то, ты меня понимаешь, Мэзи? И ты могла бы сказать мне, что ты уезжаешь, а не дожидаться, пока я сам узнаю об этом.

– Да ведь ты же и не узнал; я сама сказала тебе, но, Дик, что толку горевать?

– Пользы, конечно, никакой, но ведь мы с тобой жили годы вместе, и я не подозревал, что ты мне так дорога, я не знал этого.

– Я не верю, чтобы когда-нибудь была дорога тебе! – сказала она.

– Раньше ты и не была мне дорога, но теперь! Ты мне страшно дорога, Мэзи, – пробормотал он едва внятно. – Мэзи, милочка, скажи, что и ты любишь меня, скажи, прошу тебя!

– Да, да… право же, я люблю тебя; но что пользы в том?

– Как?

– Да ведь я уезжаю.

– Но если ты, прежде чем уехать, обещаешь мне… ты только скажи, хочешь ты? – Второй раз слово «милочка» уже легче соскочило у него с языка, чем в первый раз; хороших слов в домашнем и школьном словаре Дика было очень немного, но он инстинктивно находил их: точно так же инстинктивно поймал он маленькую, почерневшую от пороха ручку и удержал в своей.

– Я обещаю, – торжественно произнесла Мэзи, – но раз я люблю, то какая надобность обещать?

– Так ты любишь? – И впервые за последние несколько минут глаза их встретились и яснее всяких слов сказали то, что они не могли и не умели передать словами.

– О, Дик, не нужно этого! Прошу тебя! Это хорошо, когда мы здоровались поутру; но теперь это совсем другое!

Амомма смотрела на них издали в недоумении; она часто бывала свидетельницей ссор, но никогда не видела, чтобы ее госпожа обменивалась поцелуями со своим юным товарищем. Но желтая кувшинка на болоте была

умней козы и одобрительно кивала своей золотой головкой. Как поцелуй, это был даже не настоящий поцелуй, но тем не менее это был первый, не похожий на те, какие даются по обязанности, и он открыл им новые миры… один прекраснее и лучезарнее другого, так что и чувства их, и думы, и воображение унеслись в неведомые, заоблачные страны, превыше всяких житейских забот и треволнений, особенно забот о вечернем чае, – и потому они сидели тихо друг подле друга, держась за руки и не говоря ни слова.

– Теперь ты уже не можешь позабыть, – сказал наконец Дик. – И что-то жгло теперь его щеку гораздо сильнее, чем пороховой ожог.

– Я и так ничего не забыла бы, – сказала Мэзи, – пойдем домой.

– Давай расстреляем сперва оставшиеся патроны, – возразил Дик и помог Мэзи спуститься с откоса зеленого вала форта к морю, хотя Мэзи свободно могла сбежать с него одна. Мэзи с не меньшей серьезностью взяла его руку. Дик неуклюже склонился над ее ручкой; она отдернула, а Дик густо покраснел.

– У тебя такая хорошенькая ручка, – сказал он.

– О-о! – протянула Мэзи, усмехаясь самодовольной улыбкой, в которой отразилось польщенное тщеславие женщины.

Она стояла подле Дика совсем близко, когда он в последний раз зарядил револьвер и выстрелил в море, со смутным сознанием, что он защищает Мэзи от всех бед в мире.

Небольшая лужа вдали на илистой отмели отразила на мгновенье последние лучи заходящего солнца, превратившегося в багровый диск, привлекший внимание Дика в тот момент, когда он взводил свой револьвер, и им снова овладело чувство чего-то чудесного и необычайного. Вот он стоит здесь рядом с Мэзи, которая обещала помнить его всегда, всегда, до того дня, когда… Вдруг порыв ветра разметал ее длинные черные волосы, бросив их прямо ему на лицо, так как она стояла рядом, позади него, положив руку ему на плечо и ласково подзывала к себе Амомму. На мгновение у него стало темно перед глазами и что-то словно обожгло его. А пуля со свистом пронеслась куда-то в открытое море.

– Промахнулся, – сказал он, покачав головой. – Больше патронов нет. Надо будет бежать домой.

Но они не побежали, а пошли очень медленно рука об руку и вовсе не беспокоились о том, бежит ли за ними позабытая ими Амомма, или проглоченные ею патроны разорвали ее на части. Они обрели нежданное сокровище и теперь наслаждались им со всей мудростью, присущей их возрасту.

– Я буду со временем… – начал уверенно Дик, но вдруг осекся. – Не знаю, кем я буду. Сдать экзамены я, кажется, не способен, но я умею рисовать отличные карикатуры на учителей, вот что!..

– Так будь художником! – сказала Мэзи. – Ты всегда смеешься над моими попытками нарисовать что-нибудь, это будет тебе полезно.

– Я никогда больше не стану смеяться ни над чем, что ты делаешь, – отозвался он. – Я стану художником и покажу себя!

– Художники, кажется, всегда нуждаются в деньгах, не правда ли?

– У меня есть сто двадцать фунтов годового дохода, которые я буду получать, как говорят мои опекуны, когда я буду совершеннолетним. Для начала этого будет достаточно.

– Вот как, ну а я богата. У меня будет триста фунтов годового дохода, когда мне исполнится двадцать один год. Вот почему мистрис Дженнет добрее ко мне, чем к тебе. Но я все-таки желала бы, чтобы у меня был кто-нибудь близкий, отец, или мать, или брат.

– Ты моя и будешь всегда моей! – сказал Дик.

– Да, я твоя навеки, а ты мой… это так хорошо! – и она сжала его руку.

Благодатная темнота скрывала их друг от друга, и, едва различая только один профиль Мэзи, Дик наконец собрался с духом и до того осмелел, что, дойдя до двери дома, выговорил те слова, которые уже целых два часа просились у него на язык.

– Я люблю тебя, Мэзи! – прошептал он, и ему показалось, что эти слова прозвучали на весь мир, который он не сегодня завтра собирался покорить.

Когда они вернулись, м-с Дженнет набросилась на Дика, во-первых, за непозволительную непунктуальность, а во-вторых, за то, что он чуть не застрелил себя запрещенным оружием.

– Я играл им, и он нечаянно выстрелил, – сказал Дик, убедившись, что ожога на щеке не скрыть, – но если вы думаете, что я позволю вам побить меня за это, то вы очень ошибаетесь. Вы никогда больше пальцем меня не тронете! Сядьте на свое место и налейте мне чай. Уж этого-то вы никак не можете отнять у нас.

М-с Дженнет чуть не задохнулась и даже посинела. Мэзи не сказала ни слова, не ободряла Дика взглядом, и весь этот вечер Дик вел себя непозволительно дерзко. М-с Дженнет предрекала ему, что Бог немедленно покарает его и что впоследствии ему грозит геенна огненная, но Дик чувствовал себя на седьмом небе и ничего не хотел слышать. Только когда он уже шел ложиться спать, м-с Дженнет несколько пришла в себя и вернула себе свое обычное самообладание. Дик пожелал Мэзи спокойной ночи, не глядя на нее и не подходя к ней, и это не укрылось от м-с Дженнет.

– Если ты не джентльмен, то мог бы постараться хоть внешне походить на джентльмена, – ядовито заметила она. – Ты опять поссорился с Мэзи?

Она сделала этот вывод из того, что они не обменялись обычным поцелуем, желая друг другу спокойной ночи. Мэзи, бледная, как воск, с притворным равнодушием подставила ему свою щеку. Дик едва прикоснулся к ней губами и вышел из комнаты красный как рак. В эту ночь ему снился дикий сон. Он покорил весь мир и положил его к ногам Мэзи в ящике от патронов, а она опрокинула ящик ногой и, вместо того чтобы сказать «спасибо», крикнула: «Где ошейник, который ты обещал подарить Амомме? О, какой ты эгоист!»

II

– Я не сержусь на английскую публику, но очень хотел бы видеть несколько тысяч англичан здесь, среди этих скал. Не стали бы они так жадно набрасываться на свои утренние газеты. Можете вы себе представить всю эту почтенную компанию – «Друг справедливости», «Постоянный читатель», «Отец семейства» и другие печатные листы, разбросанные на этом раскаленном песке?

– С голубой вуалью на шляпе и в изодранных брюках… Нет ли у кого-нибудь иголки? Я добыл клочок мешочного холста.

– Я вам одолжу, пожалуй, рогожную иглу, которой зашивают тюки, если вы мне дадите шесть квадратных дюймов холста. У меня продырявились оба колена.

– Уж отчего бы не шесть акров? Не все ли равно сколько просить! Ну, давайте сюда иголку, а я посмотрю, что с этим можно сделать. Но едва ли этого материала хватит, чтобы прикрыть мое грешное тело от стужи и холодного ветра.

– Что вы там опять возитесь с вашим неразлучным альбомом?

– Рисую «нашего специального корреспондента», штопающего свои брюки, – серьезно отозвался Дик, в то время как его товарищ, разложив на коленях эту необходимую принадлежность мужского туалета, прилаживал к ней заплату в том месте, где зияла особенно выразительная прореха, и сердито ворчал, отчаявшись в успехе своих усилий: – Гм… что тут поделаешь с клочком холста?! Эй ты, рулевой! Одолжи мне все паруса с твоего вельбота!

Украшенная феской голова вынырнула из-за кормы между парусов, осклабилась, сверкнув белизной зубов, и снова нырнула за борт. А человек с порванными брюками, в одной вязаной куртке и серой фланелевой рубашке продолжал трудиться над своим неумелым шитьем, в то время как Дик, посмеиваясь, заканчивал свой набросок.

Около двадцати вельботов стояло у песчаной отмели, пестревшей английскими солдатами численностью в полкорпуса, купавшимися или стиравшими свое белье. Кучи мешков, тюков, ящиков и всякого интендантского груза лежали на том месте, где пришлось спешно выгрузить один из вельботов, над которым теперь, громко ругаясь, копошился полковой плотник, стараясь далеко недостаточным количеством жести залатать изрядную дыру в дне судна.

– Сперва поломался руль, – ворчал он, повествуя о том всему миру вообще, – затем снесло мачту, а под конец, когда уж ей ничего больше не оставалось, скорлупа эта проклятая треснула и раскрыла рот, как какой-нибудь круглоголовый китайский орех!

– Как раз то же самое случилось и с моими брюками, – заметил портной, не отрывая глаз от своей работы. – Хотел бы я знать, Дик, когда я снова увижу приличный магазин?

Ответа не последовало, кроме беспрерывного сердитого ропота Нила, омывавшего высокую базальтовую стену и, пенясь, стремившегося дальше между скал и камней порогов, тянущихся на добрые полмили дальше вверх по течению. Казалось, будто тяжелые мутные воды реки хотели прогнать этих белых людей обратно на их родину. Неописуемый, своеобразный запах нильского ила свидетельствовал о том, что река обмелела и что дальше судам нелегко будет пробраться. В этом месте пустыня подступила почти к самому берегу, и среди серых, буро-красных и почти черных холмов там и сям выделялся труп дохлого верблюда. Ни один человек не осмеливался отлучиться даже на одни сутки от медленно двигавшихся вперед судов; хотя за последние несколько недель и не было никаких столкновений и перестрелок, но тем не менее все это время Нил не щадил чужеземцев. Пороги сменялись порогами, быстрины быстринами, подводные камни и рифы и мели сменяли друг друга, и группы островов тянулись одни за другими, так что, наконец, караван судов потерял всякое представление о направлении и даже о времени своего плавания. Они двигались куда-то, сами не зная зачем; им предстояло что-то сделать, но они не знали что; перед ними раскинулся Нил, а там, где-то далеко, некий Гордон сражался не на жизнь, а на смерть в городе Хартум. Отряды английских войск двигались где-то по пустыне, другие отряды двигаются по реке и еще отряды ждут посадки на суда. Свежие войска ждут в Ассиоте и Ассуане. Разные слухи и россказни ходили от Суакима и до Шестого водопада, и люди полагали, что есть какая-нибудь высшая власть, какое-нибудь высшее начальство, руководящее всеми этими сложными передвижениями. В обязанности того речного каравана, о котором сейчас идет речь, входило сопровождение судов по реке, щадя посевы и пашни местного населения. Они могли есть и спать сколько угодно, а главное – двигаться без промедления к верховьям Нила.

Вместе с солдатами этого отряда пеклись и жарились на солнце и корреспонденты газет, знавшие ровно столько же об общем ходе дел, как и сами

солдаты. Но ведь нужно же было Англии волноваться и спорить за утренним завтраком, жив или нет Гордон и не погибла ли половина славной британской армии в песках Африки. Суданская кампания была живописной кампанией и так и просилась на страницы газет. Иногда случалось, что какой-нибудь «специальный корреспондент» бывал убит, что, впрочем, не являлось убыточным для органа, у которого он находился на службе, так как это давало повод много и долго писать о его смерти, но чаще всего все рукопашные схватки, в которых эти господа принимали участие, сопровождались чудесным спасением, о котором можно было телеграфировать своей газете по восемнадцати пенсов за слово. При различных колоннах и отрядах находилось немало всяких корреспондентов, начиная ветеранами, которые вместе с кавалерией и чуть не на хвостах ее лошадей занимали Каир в 1882 году, и кончая неопытными новичками, явившимися заменить более достойных, выбывших из строя.

К числу первых, то есть тех, которые знали все входы и выходы до крайности бестолковых почтовых порядков военного времени, которые умели снискать расположение почтовых чиновников, войти в дружбу с телеграфистом и польстить тщеславию вновь произведенного штаб-офицера, когда сношения с прессой становились почему-либо затруднительными, принадлежал и господин, штопавший свои штаны, чернобровый Торпенгоу. Он являлся представителем Центрального Южного Синдиката в Суданской кампании как в Египетской войне, так и во всяких других войнах. Орган этот не особенно гнался за точностью сведений и сообщений о числе атак или отступлений; он рассчитывал на широкую публику и требовал только живописного изложения и обилия мелких подробностей, потому что в Англии больше радуются рассказу о солдате, который, вопреки правилам субординации, нарушил строй, чтобы спасти товарища, чем донесению о двадцати генералах, трудящихся в поте лица своего над интендантскими заготовками. В Суакиме этот Торпенгоу увидел молодого человека, сидевшего на краю недавно покинутого редута, величиною со шляпный картон, и зарисовывающего кучу тел, еще валявшихся на песчаной равнине.

– Сколько вам платят за это? – спросил Торпенгоу; приветствие корреспондента все равно что приветствие странствующего торговца на дороге.

– Ничего, я работаю для себя, – отозвался молодой человек, не взглянув даже на говорившего. – Есть у вас табак?

Торпенгоу подождал, пока он кончил набросок, посмотрел на него и спросил:

– Что вы здесь делаете?

– Ничего; здесь дрались, вот я и пришел.

– И вы всегда так рисуете?

Вместо ответа молодой человек показал еще несколько рисунков.

– «Бой на китайской джонке», – пояснил он, показывая их один за другим, – «Штурман, зарезанный во время бунта на судне», «Джонка на мели у Хакодате», «Сомали, погонщик мулов, которого секут плетью», «Граната, разрывающаяся в лагере у Берберы», «Солдат, убитый под Суакимом».

– Хм! – промычал Торпенгоу. – Не могу сказать, чтобы я был большим поклонником Верещагина, но о вкусах не спорят. А вы теперь делаете что-нибудь?

– Нет, я просто здесь для собственного удовольствия.

Торпенгоу окинул взглядом безотрадную картину выжженной солнцем местности и промолвил:

– Странное у вас представление об удовольствии, право. Деньги есть?

– Достаточно, чтобы прожить. Но вот что, если хотите, я готов делать для вас рисунки из военного быта.

– Мне это не нужно, но моя газета, быть может, пожелает их иметь. Вы, я вижу, можете рисовать недурно и, как мне кажется, не погонитесь за большим вознаграждением, не так ли?

– На этот раз нет; я не хочу упустить случай.

Торпенгоу снова посмотрел на рисунки и одобрительно покивал головой.

– Да, вы правы, что не хотите упустить случай, когда он вам представился…

И он поспешил в город и телеграфировал своей газете: «Нашел человека делает прекрасные рисунки дешево приглашать будут корреспонденции с рисунками».

А человек, сидевший на редуте, тем временем болтал ногами и бормотал про себя:

– Я знал, что случай подвернется рано или поздно, и клянусь, достанется им, если я выйду живым из этой переделки!

Вечером того же дня Торпенгоу сообщил своему новому знакомому, что Центральное Южное Агентство согласно принять его к себе на службу, на пробу, с уплатой за три месяца вперед.

– Да, кстати, как ваше имя? – осведомился Торпенгоу.

– Гельдар. А скажите, предоставляется мне полная свобода действий?

– Вы наняты на пробу и, следовательно, должны оправдать их ожидания. Вам всего лучше ехать со мной. Я отправляюсь вверх по Нилу с одним из отрядов и сделаю для вас все, что могу. Дайте мне несколько ваших рисунков, я отошлю им их для образца. – И мысленного он добавил: «Это самая выгодная афера, какую когда-либо делало Центральное Южное Агентство, а уж я-то им довольно дешево достался».

Таким образом, Дик Гельдар сделался членом достопочтенного братства военных корреспондентов, все члены которого получают неотъемлемое право работать сколько могут и получать, сколько будет угодно Провидению и их патронам. К этим правам прибавляется впоследствии гибкость языка, перед которой не в силах устоять ни мужчина, ни женщина, взгляд ястребиный, пищеварение страуса и бесконечная «приспособляемость» ко всевозможным условиям жизни. Некоторые, конечно, умирают, не успев достигнуть этой степени совершенства, а другие, вернувшись в Англию, появляются в обществе в модных фраках, под которыми трудно отличить их необычные свойства, и потому слава их остается сокрытой от толпы. Дик следовал за Торпенгоу, куда бы ни занесла того его фантазия, и вместе им удавалось делать дело, которое, можно сказать, почти удовлетворяло их самих. Жилось им нелегко, во всяком случае, и под влиянием этой совместной жизни они вскоре тесно сблизились

между собой.

Им приходилось есть с одной тарелки, пить из одной бутылки и – что всего сильнее укрепило их связь – сообща отправлять свою почту. Однажды Дик ухитрился мертвецки напоить телеграфиста в пальмовой хижине за Вторым Нильским порогом и в то время, когда этот последний блаженно спал на полу, воспользовался очень интересно составленным сообщением корреспондента другого синдиката, снял с него копию и отнес ее Торпенгоу, который при этом заметил, что в любви и в военной корреспонденции все дозволено, и вслед за тем сейчас же настрочил прекрасную статью, воспользовавшись материалом, собранным его соперником по ремеслу.

Но подробный рассказ об их похождениях, от Фил и до безбрежных пустынь Герави и Муэллы, занял бы целые тома. Они были втиснуты в самую середину боевого каре и подвергались ежеминутной опасности быть убитыми возбужденными схваткой солдатами; они сражались с вьючными верблюдами на рассвете; они тряслись часами в глубоком безмолвии, под палящим солнцем, на маленьких, неутомимых египетских лошаденках и боролись с мутными волнами Нила, когда вельбот, на котором они плыли, наткнувшись на подводный риф, пробил себе дно и сорвал чуть не половину досок своей обшивки.

Теперь они сидели на песчаной отмели берега, между тем как следовавшие позади них вельботы подвозили арьергард их колонны.

– Да, – сказал Торпенгоу, вздохнув с облегчением и сделав последний стежок, – это была отменная работа!

– Да вы о чем, о кампании или о заплате? – спросил Дик. – Что касается меня, то я невысокого мнения об обеих.

– Вы, вероятно, хотели бы, чтобы привезли в Жакдулу восьмидесятитонные орудия! Ну, теперь я совсем доволен своими штанами.

И он повернулся с серьезным видом, чтобы показать себя со всех сторон, как это делают иногда клоуны.

– Очень красиво, особенно буквы на холсте – G. B. T. – Government Bullock Train.

– Извините, пожалуйста, – это мои инициалы: Gilbert Belling Torpenhow. Я нарочно выбирал этот лоскут, прежде чем стащить его… Кой черт, что там случилось с нашей кавалерией?

И Торпенгоу, прикрыв глаза рукой, стал вглядываться в поросший кустарником песчаный берег.

Вдруг громко затрубили тревогу, и люди, купавшиеся в реке или стиравшие на берегу, кинулись к оружию и амуниции.

– «Пизанские солдаты, захваченные врасплох во время купанья», – спокойно заметил Дик. – Помните вы эту картину? Она писана Микелем Анджело. [Речь идет о картине Микеланджело Буонаротти – гениального итальянского скульптора, живописца, величайшего художника эпохи Возрождения.] Все начинающие пишут копии с нее. Смотрите, эти кусты кишат неприятелем!

Отряд, оставшийся при верблюдах, призывал пехоту, а крики, доносившиеся с реки, доказывали, что и арьергард каравана заметил переполох и спешил принять участие в схватке. Так же быстро, как дуновение ветра покрывает рябью гладкую поверхность тихих вод, так скалистые кряжи и песчаные холмы, поросшие кустарником, запестрели вооруженными людьми. К счастью, арабы остановились на большом расстоянии и, жестикулируя, оглашали воздух радостными криками. Один из них, выехав несколько вперед, разразился даже длинной, витиеватой речью. Англичане не открывали огонь; они рады были воспользоваться этой маленькой проволочкой, чтобы дать пехоте время выстроиться в каре; купавшиеся и стиравшие на берегу люди бежали к ним на помощь, а подплывавшие вельботы спешно причаливали к ближайшему берегу и высаживали всех, кроме больных и нескольких человек, оставляемых для охраны. Наконец араб-оратор кончил свою речь, а его друзья разразились громкими криками одобрения, слившимися в общий вой.

– Они похожи на махдистов, – сказал Торпенгоу, проталкиваясь в самую гущу каре. – Но сколько их тут, тысячи! А я знаю, что соседние племена здесь не враждебны нам.

– Значит, махдисты взяли еще один город, – решил Дик, – и выслали против нас этих горластых чертей. Одолжите-ка мне ваш бинокль.

– Наши разведчики должны были уведомить нас; мы попались в ловушку! – ворчал молодой офицер. – Когда же, наконец, артиллерия откроет огонь! Эй вы, там, живее!

Но люди и сами отлично понимали и знали по опыту, что всякий отставший или замешкавшийся где-нибудь человек, в то время как уже начался бой, неизбежно должен будет расстаться с жизнью самым неприятным образом. Небольшие орудия с двух флангов каре открыли огонь в тот момент, когда каре двинулось вперед, чтобы занять вершину невысокого холма. Все уже не раз участвовали в подобных схватках, и они не представляли собою ничего нового для этих людей. Все то же поспешное, торопливое выстраивание в каре, пыль, запах пота и кожи, шумным роем налетающие арабы, атака слабейшего звена каре, отчаянная рукопашная схватка в течение нескольких минут и затем – безмолвие пустыни, нарушаемое лишь пронзительным гиканьем тех, кого небольшая горсточка кавалерии пыталась преследовать скорее для острастки. Люди стали относиться к подобным схваткам довольно беспечно. Орудия стреляли, каре подвигалось вперед, а люди, не научившиеся из книг, что идти в атаку тесной стеной на орудия – безумно, в числе трех тысяч человек устремились на английский отряд. Несколько выстрелов дали знать об их натиске, несколько всадников в белых бурнусах выскочили вперед, но главную массу составляли голые дикари, вооруженные копьями и мечами. Инстинкт сынов пустыни, где царит вечная война, подсказал им, что правый фланг каре слабее. Ядра и гранаты артиллерии бороздили их густую массу, ружейный огонь косил их сотнями; никакие цивилизованные войска не выдержали бы такого отпора, но эти дикари, оставшиеся в живых, перепрыгивали через умирающих, которые цеплялись за их ноги, а раненые с проклятьями устремлялись вперед, пока не падали под ноги своим, – и вся эта черная масса обезумевших людей, точно поток, прорвавший плотину, устремлялась на правый фланг каре.

Но вот линия запыленных войск и бледно-голубое небо пустыни над ними утонули в клубах порохового дыма и пыли, а камни на раскаленном песке и иссохшие кустики вереска приобрели вдруг огромное значение, так как люди по ним измеряли свое беспорядочное бегство, машинально отмечая его этапы тем или другим камнем или кустом. Тут не было и подобия правильного сражения. Солдаты по опыту знали, что неприятель может атаковать каре сразу со всех четырех сторон, но что их дело было уничтожать лишь тех отдельных врагов, которые находились непосредственно перед ними, и бить штыком в спину тех, кто мчался пред ними или мимо них, а падая, увлекать за собой в падении убийцу и удерживать его до тех пор, пока чей-нибудь приклад не раздробит ему голову. Дик, Торпенгоу и молодой врач, состоявший при отряде, терпеливо

дожидались момента, когда напряжение схватки достигнет своего высшего предела. Помочь раненым до окончания боя не было ни малейшей надежды, и потому эти трое не спеша продвигались к слабейшей стороне каре, на которую была произведена главнейшая атака и где число раненых и убитых было особенно велико. Когда нападающие толпой хлынули на правый фланг каре, и послышался свист копий и неистовые крики и вопли неприятеля, какой-то всадник с пронзительным воем ворвался в самый центр каре с кучкой из тридцати или сорока человек; ряды каре сомкнулись за ними, другие кинулись к ним на выручку со всех сторон. Раненые, понимавшие, что им оставалось недолго жить, не хотели умирать без пользы и ловили за ноги врага, силясь стащить его на землю или, схватив брошенное оружие, стреляли наудачу в кучу сражающихся. Дик смутно сознавал, что кто-то нанес ему сильный удар по шлему, что сам он выстрелил почти в упор из револьвера в свирепое черное лицо с пеной на губах, которое тотчас же перестало походить на человеческое лицо. Он видел, что Торпенгоу упал вместе с арабом, которого он пытался скрутить и осилить в рукопашной схватке, и барахтался вместе с ним на земле. Доктор работал штыком как умел. Какой-то потерявший свой шлем солдат выстрелил из ружья через плечо Дика, и порохом ему обожгло щеку. Дик подался в сторону Торпенгоу, который теперь, свалив с себя противника, вскочил на ноги и вытирал о штаны окровавленный большой палец; араб схватился обеими руками за голову и страшно застонал, но в следующий момент поднял копье и бросился на Торпенгоу, который быстро отскочил к Дику, под защиту его пистолета. Дик выстрелил дважды; араб подпрыгнул и упал навзничь. Дик заметил, что у него отсутствовал один глаз. Ружейный огонь усиливался, но к нему уже примешивались торжествующие крики английских солдат. Атака была отбита; враги бежали. Центр каре походил на бойню, и все пространство вокруг было усеяно грудами человеческого мяса. Дик кинулся вперед, протискиваясь между опьяненными боем, обезумевшими людьми. Оставшиеся в живых враги отступали и бежали, тогда как маленькая, очень маленькая горсточка кавалерии, преследуя их, давила и топтала лошадьми отставших.

Далеко за чертой поля битвы лежало упавшее в кусты широкое окровавленное арабское копье, вероятно брошенное во время отступления, а еще дальше расстилалась темная равнина пустыни. Солнце, ударив прямо в сталь копья, превратило его на мгновенье в жутко багровый огненный диск. Кто-то позади Дика крикнул ему в самое ухо: «Стреляй же, разиня!» Дик поднял револьвер и выстрелил. Багряное пятно бросилось ему в глаза и приковало к себе его внимание, а крики, раздававшиеся вокруг него, превратились в какой-то отдаленный ропот, точно шум моря. Он видел перед собой только багровый диск, револьвер, и чей-то голос, торопивший его, напомнил ему что-то

давнишнее, забытое и отрадное. Он ждал, что будет дальше. Что-то точно треснуло у него в голове, и с минуту у него стало темно перед глазами и что-то словно жгло его лицо. Он выстрелил наобум, и, когда пуля со свистом пронеслась в беспредельное пространство пустыни, он едва слышно пробормотал:

– Промахнулся! Больше патронов нет, надо будет бежать домой.

Он медленно поднес руку к голове, и, когда он опустил ее, она оказалась вся в крови.

– Эх, дружище, да вы, кажется, не на шутку ранены! – воскликнул Торпенгоу. – Вы спасли мне жизнь! Спасибо вам! Идемте… Вам нельзя оставаться здесь.

Дик бессильно склонился на плечо Торпенгоу и бормотал что-то бессвязное о том, что надо целить ниже и левее, и затем как сноп повалился на землю и замолк. Торпенгоу дотащил его до доктора и, сдав его ему с рук на руки, засел писать сообщение «о кровопролитной битве, в которой наши войска одержали блестящую победу» и т. д.

И всю эту ночь, когда люди расположились лагерем подле своих вельботов, тощая черная фигура плясала на песчаной отмели при ярком свете луны и выкрикивала, что Хартум, проклятый Богом Хартум погиб! погиб! погиб! и что два больших парохода засели на скалах на Ниле, под самым городом, и что из всего их экипажа не спасся ни один человек, а Хартум погиб! погиб! погиб!..

Но Торпенгоу не обращал внимания на эти выкрики; он сидел у изголовья Дика, который громко взывал к беспокойной реке, призывая Мэзи!.. и опять Мэзи!

– Странный феномен! – заметил Торпенгоу, поправляя одеяло. – Вот человек, который все время твердит все одно и то же, и всего только одно женское имя; а я немало видел людей в бреду… Дик, вот шипучее питье!

– Благодарю, Мэзи, – ответил Дик.

III

Суданская кампания окончилась несколько месяцев тому назад. Разбитая голова Дика поправилась, и Центральный Южный Синдикат уплатил ему известную сумму за его работы, которые, как они сочли нужным сообщить ему, были не совсем на высоте своего назначения и их требований. Дик письмо это бросил в Нил, получил по чеку в Каире и там же распростился с Торпенгоу.

– Я намерен теперь некоторое время отдохнуть, – сказал корреспондент. – Не знаю, где я поселюсь в Лондоне, но, если нам суждено Богом встретиться, мы, наверное, встретимся. А вы уж не думали ли оставаться здесь в ожидании новой войны? Войны теперь не будет до тех пор, пока наши войска не займут вновь Южный Судан. Попомните мои слова. Прощайте! Благослови вас Бог! Возвращайтесь, когда истратите все деньги, и сообщите мне ваш адрес.

Торпенгоу уехал, а Дик еще некоторое время мотался по Каиру, Александрии, Измаилии и Порт-Саиду, особенно Порт-Саиду. Несправедливость и пороки царят повсеместно, во всех частях света, но квинтэссенция всех несправедливостей и пороков всех материков земного шара находится в Порт-Саиде. Через этот окруженный песками ад, где мираж играет целыми днями над Горькими Озерами, проходят бесконечной вереницей большинство мужчин и женщин, которых вы когда-либо знавали и которых вы увидите здесь, если только прождете их достаточно долго.

Дик поселился в доме скорее шумном, чем приличном, и проводил вечера на набережной, посещая большое число прибывающих судов и видясь на них со многими друзьями и знакомыми. Тут встречал он прелестных и любезных англичанок, с которыми он вел довольно игривые разговоры на веранде Shepheard's Hotel'я, и вечно спешащих военных корреспондентов и знакомых шкиперов с тех судов, которые во время Суданской кампании перевозили войска, и множество офицеров, отправлявшихся в колониальные войска или возвращавшихся на родину, и множество других лиц, принадлежащих к менее почтенным профессиям. Здесь ему представлялся выбор моделей всех существующих рас Востока и Запада, и возможность видеть их в моменты сильнейшего возбуждения, за игорным столом, в кабаках, танцклассах и всевозможных вертепах и притонах разврата, а для отдохновения от столь возбуждающих зрелищ и картин к его услугам была длинная перспектива канала, раскаленные пески пустыни, вереницы кораблей и белые палаты госпиталей, в которых лежали английские солдаты. И он пытался перенести на холст или картон углем, карандашом или красками все, что он видел и успевал

уловить, и, когда весь его запас моделей и натуры истощался, он опять искал новые сюжеты. Это было увлекательное занятие, но оно уносило много денег, и он уже выбрал вперед причитающиеся ему сто двадцать фунтов годового дохода. «А теперь придется или работать, или подыхать с голоду», – решил он, и ждал решения своей судьбы, когда неожиданно получил загадочную телеграмму от Торпенгоу из Англии, гласившую: «Возвращайтесь скорее вам повезло приезжайте».

Широкая улыбка разлилась по его лицу.

– Уже! – подумал он. – Это приятно слышать. Сегодня ночью устрою оргию; теперь все равно, или пан, или пропал! Настало время, чтобы и мне повезло, наконец! – И вот он вручил половину всей своей наличности своим добрым друзьям, господину и госпоже Бина, и заказал им самый залихватский занзибарский танец. Monsieur Бина весь трясся с перепоя, но madame приятно улыбалась, сочувственно кивая головой.

– Monsieur, вероятно, хочет найти «тело» – и, конечно, будет зарисовывать; я знаю, monsieur любит странные забавы.

Сам Бина при этом приподнял голову над койкой, стоявшей в задней коморке, и дрожащим голосом пробормотал: «Понимаю, мы все знаем, monsieur. Monsieur художник, как некогда был и я, и в результате monsieur заживо попадет в ад, как я попал».

И он безобразно засмеялся.

– Вы также должны присутствовать во время танца, я так хочу, – сказал Дик, – вы мне нужны.

– Вам нужно мое лицо? Я так и знал. Боже мой! Это чтобы запечатлеть весь ужас и весь позор моего падения! Нет, я не хочу! Убери его отсюда! Это сам дьявол. Или, по крайней мере, потребуй с него, Селестина, дороже.

И добрейший господин Бина принялся метаться и кричать.

– В Порт-Саиде все продажно, – сказала madame, – и если вы желаете, чтобы мой супруг пришел в зал, это будет стоить дороже. Полсоверена, согласны?

Деньги были уплачены вперед, и ночью, на заднем дворе дома господина Бина, обнесенном высокой каменной стеной, состоялась бешеная пляска после обильного яствами и особенно питием ужина. Сама хозяйка, в полинялом шелковом платье, поминутно сползавшем с ее желтых плеч, сидела за расстроенным, дребезжащим роялем, и под звуки избитого западного вальса, при свете керосиновых ламп, голые занзибарские девушки кружились в неистовой, бешеной пляске. Сам Бина сидел на стуле и бессмысленным взглядом ничего не видящих, оловянных глаз смотрел перед собой до тех пор, пока вихрь пляски и дребезжание рояля не проникли сквозь винные пары и алкоголь, заменивший кровь в его жилах, после чего его лицо вдруг засветилось. Тогда Дик грубо взял его за подбородок и повернул его лицом к свету. Madame при этом взглянула через плечо и улыбнулась, оскалив все зубы. Дик, прислонясь к стене, зарисовывал всю эту картину более часа, пока керосиновые лампы не начали чадить, а танцовщицы не упали в изнеможении на землю. Тогда Дик захлопнул свой альбом и повернулся, чтобы уйти. Бина тихонько дотронулся до его локтя.

– Покажите! – тоскливо прохныкал он. – Ведь я тоже когда-то был художником, да, я!

Дик показал ему свой набросок.

– И это я? – воскликнул несчастный. – Вы это увезете с собой и покажете всему свету, каков я, Бина?

Он застонал и заплакал.

– Monsieur заплатил за все, – сказала madame. – До приятного свидания, monsieur.

Калитка заднего двора захлопнулась за Диком, и он направился по песчаной улице в ближайший игорный дом, где его хорошо знали. «Если счастье улыбнется мне, значит, ехать, если проиграюсь, то останусь здесь!»

Он расставил монеты в живописном беспорядке на сукне стола, не решаясь даже взглянуть на то, что он делает. Но счастье благоприятствовало ему. Три оборота колеса дали ему двадцать фунтов, и он отправился прямо на пристань договориться с капитаном старого грузового парохода, который доставил его в Лондон с весьма скудным запасом капитала в кармане.

Тонкий серый туман висел над городом; на улицах было холодно, хотя в Англии было лето.

«Веселая погодка, и, как видно, не расположена даже измениться, – подумал Дик, шагая от доков к западной части города. – Ну, что же мне делать!»

Тесно жавшиеся друг к другу дома не дали ответа. Дик смотрел на длинные, неосвещенные улицы и прислушивался к шуму движения.

– Ах вы, кошачьи норы! – сказал он, обращаясь к ряду почтенных полуособняков. – Знаете ли вы, что вам предстоит? Вы должны будете доставить мне лакеев и горничных, и королевскую роскошь, – вот что! – и при этом он причмокнул тубами. А пока я приобрету себе приличное платье и обувь, а затем вернусь и буду попирать вас ногами!

Он энергично зашагал и вдруг заметил, что один сапог у него сбоку лопнул. Когда он остановился, чтобы разглядеть изъян, какой-то прохожий столкнул его в сточную канавку. «Ладно, – подумал он, – и это тоже зачтется. Погодите, я тоже потолкаю вас!»

Хорошее платье и сапоги недешевы, но Дик вышел из магазина с уверенностью, что теперь он на некоторое время будет прилично одет, но всего только с пятьюдесятью шиллингами в кармане. Он вернулся на улицы, прилегающие к докам, и поселился в одной комнатке, где наволочки и простыни были снабжены огромными метками на случай кражи, и никто, кажется, никогда не спал в постели. Когда ему принесли платье, он разыскал Центральный Южный Синдикат и там справился об адресе Торпенгоу; здесь ему намекнули, что Синдикат еще должен ему немного за рисунки.

– Сколько? – осведомился Дик таким тоном, как будто он привык считать миллионами.

– Тридцать или сорок фунтов. Если угодно, мы можем уплатить вам сейчас же, хотя обыкновенно мы выдаем деньги раз в месяц.

«Если я только покажу им, что нуждаюсь в деньгах, то я пропал, – сказал сам себе Дик. – Я возьму свое потом», – и громко добавил:

– Не беспокойтесь из-за таких пустяков, мне сейчас деньги не нужны, тем более что я теперь уезжаю на месяц в деревню, а когда вернусь, тогда и заеду за этими деньгами.

– Но мы надеемся, мистер Гельдар, что вы не намерены прервать с нами отношения?

Так как профессия Дика состояла в изучении лиц и выражений, то он всегда зорко наблюдал за своим собеседником и на этот раз тоже нечто особенное в выражении лица говорившего не укрылось от его внимания.

«Это что-нибудь да значит, – подумал он. – Не буду ничего предпринимать, не повидавшись с Торпенгоу. Тут пахнет чем-то крупным».

И он ушел, не дав никакого определенного ответа, и вернулся в свою комнатенку на улице, прилегающей к докам.

Это было седьмое число месяца, а этот месяц, как он отчетливо помнил, имел тридцать один день. Человеку с добропорядочными вкусами и привычками и со здоровым аппетитом нелегко просуществовать двадцать четыре дня на пятьдесят шиллингов. Он платил семь шиллингов в неделю за свое помещение, причем у него оставалось немного меньше одного шиллинга в сутки на пищу и питье. Разумеется, он прежде всего закупил материалы для живописи, в которых он уже давно нуждался. За полдня исследований и сравнений различных способов питания он пришел к заключению, что наилучшая пища – это сосиски с картофелем по два пенса за порцию. Сосиски как фриштых [Фриштых – закуска; здесь в значении: перекусить до обеда.] раза два-три в неделю – недурно. Те же сосиски на завтрак – уже несколько однообразно. Сосиски на обед – положительно возмутительно. И по прошествии трех дней Дик возненавидел сосиски и заложил свои часы, чтобы перейти к бараньей голове, которая, впрочем, не столь уж дешева, как это кажется, так как в ней много костей. Затем он снова вернулся к сосискам и картофелю, а после того ограничился уже

одним картофелем в течение целого дня и чувствовал себя весьма скверно, потому что ощущал боль в желудке от недоедания. Тогда он заложил свой пиджак и галстук и с сожалением вспоминал о тех деньгах, которые он раньше попусту тратил на пустяки. Ничто так не располагает к назидательным размышлениям, как чувство голода, и Дик во время своих редких прогулок по городу – он чувствовал потребность в моционе, потому что моцион возбуждал в нем такого рода желания, которые не могли быть удовлетворены – встречаясь с людьми, невольно делил весь род человеческий на две категории: на тех, которые, по-видимому, могли бы дать ему поесть, и тех, от которых нельзя было этого ожидать. «Я раньше даже не подозревал, как многому мне еще придется научиться при изучении человеческих лиц», – подумал Дик, и в награду за его смирение Провидение надоумило одного извозчика в той закусочной, где Дик питался в этот вечер, оставить недоеденной большую краюху хлеба. Дик взял ее и был готов даже сразиться с целым миром из-за обладания ею.

Так дотянулся месяц до конца, и, не чуя под собой ног от нетерпения, он отправился получать свои ежемесячные доходы. После того он поспешил к Торпенгоу, и на всем протяжении коридора меблированных комнат Дик все время ощущал запах жареного мяса и других кушаний. Торпенгоу жил на верхнем этаже дома с меблированными комнатами; Дик ворвался к нему и был принят в объятия столь горячие, что у него затрещали кости; затем Торпенгоу потащил его ближе к свету, не переставая говорить о двадцати различных вещах сразу.

– Но выглядите вы осунувшимся и похудевшим, – заметил корреспондент.

– Есть у вас что-нибудь поесть? – спросил Дик, глаза которого блуждали по комнате.

– Сейчас мне подадут завтрак. Что вы скажете насчет сосисок?

– Нет, все, что хотите, только не сосиски! Торп, ведь я подыхал с голоду тридцать дней и тридцать ночей, питаясь одной кониной.

– Ну, какое же было ваше последнее безумство?

На это Дик принялся с неудержимым воодушевлением рассказывать о своем существовании в течение последних двух-трех недель, а затем расстегнул

сюртук, под которым не оказалось жилета.

– Жил я так, что едва-едва свел концы с концами, еле-еле выкарабкался, – заключил он.

– Разума у вас немного, но выносливостью вы можете похвалиться. А теперь поешьте, а потом потолкуем.

Дик набросился на яйца и ветчину и уплетал их с таким усердием и жадностью, что вскоре его желудок уже не мог ничего более вместить. Затем Торпенгоу передал ему набитую уже трубку, и он затянулся с таким наслаждением, с каким это делают люди, давно не видавшие хорошего табака.

– Уф! – вздохнул он. – Вот блаженство!.. Ну?..

– Почему, черт возьми, вы не обратились ко мне?

– Не мог; я и так уже должен вам слишком много, дружище, а кроме того, у меня было нечто вроде предубеждения, что эта временная голодовка принесет мне счастье впоследствии. Теперь это дело прошлое, и никто в синдикате не знает о том, как мне туго пришлось. Ну же, выпаливайте скорее, в каком именно положении находятся в настоящее время мои дела?

– Вы получили мою телеграмму? Как я вам говорю, вам повезло – публике ужасно полюбились ваши рисунки. Не знаю за что, но это так. Твердят о том, что у вас есть какая-то свежесть, какая-то непосредственность передачи, словом, что-то совершенно новое в манере изображать вещи. И так как все это по большей части доморощенные англичане, то они уверяют, что у вас есть какая-то особенная глубина взгляда, «проникновенность». С полдюжины периодических изданий желают заполучить вас в сотрудники, а авторы книг желают, чтобы вы взялись их иллюстрировать.

Дик сердито промычал.

– Мало того, желают, чтобы вы выпустили ваши мелкие наброски для продажи, так как торговцы эстампами и рисунками думают нажить на них хорошие деньги и полагают, что затраченные на вас деньги явятся хорошим и выгодным

помещением капиталов. Боже мой, как безотчетны вкусы толпы!

– Напротив, они весьма осмысленны.

– Толпа вообще подвержена внезапным, беспричинным увлечениям, и вот вы сделались случайным объектом одного из таких увлечений людей, утверждающих, что они интересуются так называемым искусством. В данный момент вы вошли в моду, вы божок, феномен, словом, все, что хотите. Я оказался единственным человеком, которому здесь было кое-что известно о вас, и вот я стал показывать наиболее нужным и могущим быть вам полезным людям те несколько рисунков и набросков, которые вы иногда дарили мне. Многие являлись даже в Центральный Южный Синдикат, чтобы ознакомиться там с вашими рисунками, и эти последние ценители вашего таланта, по-видимому, довершили вашу славу. Теперь счастье в ваших руках!

– Ну, нашли счастье! Вы называете счастьем, когда человек мытарился по белу свету, как бездомный пес, в ожидании этого счастья. Нет, я, может быть, буду еще счастлив впоследствии, а теперь мне нужен угол, где работать.

– Вот идите сюда, – сказал Торпенгоу, перейдя площадку лестницы. – Смотрите, эта комната похожа на большую коробку или ящик, но она вам подойдет. Здесь у вас верхний свет или как вы его там называете… и много места, а там позади маленькая спальня; чего вам лучше?

– Да, это хорошо, – согласился Дик, обводя глазами большую комнату, занимавшую чуть не треть всего верхнего этажа этого меблированного дома, с видом на Темзу. Бледно-желтое освещение, проникая в комнату, позволяло видеть всю грязь и неприглядность этого помещения. Три шага отделяли эту комнату от лестницы и еще другие три шага от дверей комнаты Торпенгоу. Сама лестница тонула во мраке, слабо освещенном кое-где маленькими газовыми рожками; снизу доносились голоса и обрывки фраз и хлопанье дверей во всех семи этажах, погруженных в теплый полумрак местной атмосферы.

– И здесь вас ничем не стесняют? – осведомился Дик. Как истый кочевник он научился особенно дорожить свободой.

– Нет, делайте, что хотите! Вам дается отдельный ключ и предоставляется полнейшая свобода. Мы здесь все больше постоянные жильцы. Я не стал бы

рекомендовать этот дом молодым людям из союза христианской нравственности, но вам здесь будет удобно. Я занял эту комнату для вас, когда послал вам телеграмму.

– Вы удивительно добры и заботливы, милый друг!

– Я не думал, что вы пожелаете жить врозь со мной, – сказал Торпенгоу, положив руку на плечо Дика, и они принялись молча ходить по комнате, которая впредь должна была именоваться студией или мастерской. Послышался стук в дверь комнаты Торпенгоу.

– Верно, какой-нибудь разбойник захотел выпить, – сказал репортер, весело отзываясь на стук посетителя.

Вошел отнюдь не разбойничьего вида маленький, довольно тучный господин средних лет, во фраке с атласными отворотами. Его бледные губы были полураскрыты, а под глазами выделялись свинцово-синие круги в глубоких впадинах.

– Слабое сердце, очень слабое сердце, – сказал себе Дик, пожимая его руку, – у него пульс чувствуется в пальцах.

Господин этот отрекомендовался главою Центрального Южного Синдиката и одним из самых горячих поклонников таланта мистера Гельдара.

– Смею вас уверить, от имени синдиката, – продолжал джентльмен, – что мы вам бесконечно обязаны, и надеюсь, что вы, с вашей стороны, также не забудете, что мы в значительной мере содействовали вашей известности.

Он тяжело дышал, поднявшись на восьмой этаж. Дик взглянул на Торпенгоу, левый глаз которого на мгновение совершенно зажмурился.

– Я, конечно, этого не забуду, – сказал Дик, в котором инстинктивно пробудилось чувство самозащиты. – Вы так хорошо оплачивали мои работы, что я никак не могу этого забыть, вы понимаете. Да, кстати, когда я устроюсь здесь, я пришлю к вам за моими рисунками, которые я желал бы получить обратно. Их там должно быть около полутораста штук.

– То есть… да… Я именно об этом и приехал поговорить и боюсь, что мы не можем удовлетворить вашего желания, мистер Гельдар. За отсутствием всякого предварительного соглашения, ваши рисунки являются нашей собственностью.

– Что вы хотите этим сказать? Что вы намерены оставить их у себя?

– Да, и мы надеемся на ваше содействие; понятно, за известное вознаграждение; вы поможете нам устроить небольшую выставку, которая, пользуясь поддержкой нашего имени и тем влиянием, каким мы пользуемся в печати, окажется небезвыгодной для вас даже и в материальном отношении. А ваши рисунки…

– Принадлежат мне. Вы пригласили меня по телеграфу и платили мне самые жалкие гроши, а теперь еще думаете присвоить себе мои рисунки! Да, черт побери, ведь это все мое достояние!

Торпенгоу не спускал глаз с лица Дика и тихонько насвистывал.

Дик молча зашагал по комнате, как бы соображая что-то. Ему представлялось, что весь его маленький запас рисунков пущен в продажу этим господином, имени которого он не уловил, что его первое оружие, с которым он рассчитывал выйти на борьбу с жизнью, у него отнято, выбито из рук еще перед началом битвы этим представителем синдиката, того самого синдиката, к которому Дик не питал ни малейшего уважения. Собственно, несправедливость этого поступка не удивляла его; он слишком часто видел, что сильные мира всегда правы, чтобы быть слишком щепетильным в вопросе о праве и справедливости. Но он положительно жаждал крови этого господина во фраке, и когда Дик заговорил снова с преувеличенной вежливостью, то Торпенгоу хорошо знал, что это предвещает настоящую бурю.

– Прошу извинения, сэр, но я желал бы знать, нет ли у вас какого-нибудь более… более молодого господина, которому вы могли бы поручить сговориться со мной об этом деле?

– Я говорю от имени синдиката и не вижу причины, для чего посвящать в это дело третье лицо.

– Вы не видите, но сейчас вы это увидите… Будьте столь добры вернуть мне мои рисунки.

Посетитель с недоумением посмотрел на Дика и затем на Торпенгоу, прислонившегося к стене. Он не привык, чтобы бывшие сотрудники синдиката приказывали ему быть столь добрым и сделать то или другое.

– Это, конечно, хладнокровный грабеж, – критически вставил Торпенгоу, – но я боюсь, я сильно опасаюсь, что вы наскочили не на такого человека, Дик; будьте осторожны, не забудьте, что мы здесь не в Судане.

– Примите во внимание, какую услугу вам оказал синдикат, познакомив публику с вашими работами, выдвинув ваше имя из мрака неизвестности.

Это было неудачное замечание: оно напоминало Дику о годах скитаний, проведенных в нищете и одиночестве, в борьбе и неудовлетворенности, и с этими воспоминаниями слишком резко сопоставлялся сытый джентльмен, желавший воспользоваться плодами всех этих мучительных годов.

– Не знаю, право, как мне быть с вами, – задумчиво начал Дик. – Конечно, вы вор, и вас следовало бы поколотить до полусмерти, но вы, вероятно, умерли бы от этого, а я вовсе не желаю видеть вас мертвым здесь, в этой комнате, потому что это дурная примета, когда только что собираешься въехать в комнату. Но вы не горячитесь, сэр, это вредно для вас, не волнуйтесь, – при этом Дик взял его за руку немного пониже локтя и в то же время провел другой рукой по неуклюжему, тучному торсу джентльмена вдоль спины под фраком. – Боже правый! – воскликнул он, обращаясь к Торпенгоу. – И этот седовласый олух еще осмеливается быть вором! Я видел в Эснехе погонщика верблюдов, у которого ремнями содрали кожу за то, что он украл полфунта гнилых фиников, и он был силен и крепок, как ремень, а этот мягок, как баба.

Нет худшего унижения, как чувствовать себя в руках человека, который не хочет даже вас ударить. Глава синдиката стал тяжело дышать, а Дик продолжал ходить вокруг него, поглаживая его, точно кошка, играющая с мягким ковром, ощупывая его, как опытный врач, и даже проводя пальцем по свинцово-синим впадинам под глазами и озабоченно качая при этом головой.

– И вы собирались обокрасть меня, присвоить себе то, что всецело мое! Вы, человек, который не знает, когда ему придется умереть. Напишите сейчас же записку в вашу контору – вы говорите, что вы глава синдиката – и прикажите отдать Торпенгоу все мои рисунки, все до единого. Погодите минутку, у вас дрожат руки… Ну вот теперь! – Он подсунул ему записную книжку, ручку, и записка была написана. Торпенгоу взял ее и ушел, не проронив ни слова, и Дик все ходил вокруг своего ошеломленного пленника, преподнося ему один за другим такого рода советы, какие он считал полезными для его души. Когда Торпенгоу вернулся с гигантским портфелем, он услышал, как Дик говорил почти ласковым голосом:

– Я надеюсь, что это послужит вам уроком; а если вы вздумаете беспокоить меня каким-нибудь глупым иском за самоуправство, то, поверьте мне, я изловлю вас где попало и поколочу вас, а вы после того умрете. Да вы и так недолго проживете. Ну а теперь идите! Убирайтесь подобру-поздорову!

Глава синдиката удалился ошеломленный, едва держась на ногах, а Дик вздохнул с облегчением:

– Уфф! Ну и народ! Ни чести, ни совести. Первое, с чем бедный, обездоленный сирота встречается здесь, это дневной грабеж, организованное воровство и мошенничество. Подумать только, какая черная душонка у этого человека! Рисунки мои все, Торп?

– Все, сто сорок семь штук. Ну, признаюсь, Дик, вы начали недурно.

– Он сам напросился на это. Для него ведь это был вопрос нескольких фунтов, а для меня это было все! Не думаю, чтобы он возбудил судебное дело по этому поводу. Я дал ему совершенно безвозмездно несколько весьма хороших советов относительно его здоровья, и вообще он отделался дешево на этот раз. Ну а теперь посмотрим мои рисунки.

Две минуты спустя Дик лежал, растянувшись, на полу, погруженный в рассматривание содержимого портфеля, любовно и самодовольно посмеиваясь при мысли о том, за какие гроши они были приобретены.

Время было далеко за полдень, когда Торпенгоу подошел к дверям студии и увидел Дика отплясывающим какую-то дикую сарабанду под окном в потолке.

– Торп, ведь я работал лучше, чем я думал! – сказал он, не прерывая своей пляски. – Они положительно хороши… Чертовски хороши, говорю вам! Я устрою выставку на свой риск и страх. А этот господин собирался отобрать их у меня! Знаете ли, что теперь я положительно жалею, что не побил его.

– Полно вам, – сказал Торпенгоу, – лучше молите Бога, чтобы Он избавил вас от дерзости и нахальства, от которых вам, как видно, никогда не избавиться, и привезите сюда ваши вещи, которые вы оставили там, где вы временно остановились, да приведите этот сарай в сколько-нибудь благообразный вид.

– А затем… затем, – промолвил Дик, все еще топчась на месте и приплясывая, – мы ограбим египтян!

IV

– Ну, как дела? Вошли вы во вкус успеха? – спросил Торпенгоу месяца три спустя; он только что вернулся из провинции, где отдыхал.

– Ничего, – отозвался Дик, сидя перед мольбертом в своей мастерской и облизывая губы. – Но мне нужно много больше того, что я имею. Теперь скудные времена прошли, и я вошел во вкус шикарной жизни.

– О, берегись, дружище! Ты вступаешь на стезю тяжкого труда.

Торпенгоу развалился в мягком шезлонге, с маленьким фокстерьером, прикорнувшим у него на коленях, в то время как Дик грунтовал холст. Небольшое возвышение, род эстрады, задний план и манекен были единственными предметами, выделявшимися среди общего хаоса этой студии; груды всякого старого хлама – вроде походных фляг, обшитых войлоком, портупей, потрепанных, поношенных мундиров и разнородного оружия валялись повсюду; следы грязных ног на эстраде свидетельствовали о том, что военный нарушитель только что ушел отсюда. Тусклое, осеннее солнце начинало скрываться, но в углах мастерской уже залегала тень.

– Да, – говорил Дик, – я люблю властвовать над людьми, над толпой и над обстоятельствами; я люблю веселье и забавы, люблю шум и суету и всего больше люблю деньги. Я почти что люблю тех людей, которые мне их дают. Почти люблю… но тем не менее это забавные люди, удивительно забавные люди!

– Во всяком случае, они были весьма милы и благосклонны к вам; выставка ваших жалких набросков, по-видимому, дала вам немало. А заметили вы, что газеты назвали ее «Выставкой диких работ»?

– Пускай! Я тем не менее продал все до последнего клочка холста, и, право, мне кажется, что они раскупали мои работы потому, что считали меня художником-самоучкой – самородным талантом. И я уверен, что получил бы вдвое больше за мои рисунки, если бы я писал их на шерстяной ткани или выцарапал их на костях павших верблюдов, вместо того чтобы писать их белым и черным либо красками. Право, это преудивительные люди! И нельзя их назвать ограниченными – нет! Один из них заявил мне, что невозможно, чтобы на белом песке были голубые – ультрамариновые – тени, как мы это видим, и впоследствии я узнал, что этот господин никогда не уезжал дальше Брайтона, но он, видите ли, считал себя знатоком искусства. Он прочел мне целую лекцию на эту тему и посоветовал мне поступить в какую-нибудь школу для изучения техники. Любопытно, что бы сказал на это старик Ками?

– А когда же вы учились у Ками, многообещающий молодой человек?

– Я занимался у него в течение двух лет в Париже. Он преподавал посредством личного магнетизма. Все, что мы слышали от него, было: «Continuez mes enfants!» – и затем нам предоставлялась возможность работать, кто как мог. У него самого был божественный рисунок, да и в красках он тоже кое-что понимал. Ками в грезах видел краски, потому что я могу поклясться, что он никогда не мог нигде видеть таких красок в действительности, но он создавал их, и выходило хорошо.

– Помните некоторые виды в Судане? – сказал Торпенгоу.

– Ах, не говорите! – воскликнул Дик, подскочив на своем месте. – Меня начинает опять тянуть туда. Какие краски! Опал и умбра, янтарь и винно-красный, кирпичный и серо-желтый, цвет хохолка какаду на буром или коричневом, а

среди всего этого какой-нибудь черный как уголь утес и декоративный фриз вереницы верблюдов, капризными фестонами вырисовывающихся на чистом бледно-бирюзовом фоне неба…

Он вскочил и принялся ходить взад и вперед по комнате.

– И вот, если вы постараетесь передать на холсте все это именно так, как это создал Бог, по мере силы данного вам Богом таланта…

– О, скромный юноша!.. Ну, продолжайте!..

– То с полдюжины юных дикарей, которые никогда не были даже в Алжире, непременно скажут вам, во-первых, что ваше представление заимствовано из фантастических рассказов, а во-вторых, что такого рода картина не есть произведение искусства…

– Вот что вышло из того, что я на месяц покинул город! За это время вы, Дикки, изволили прохаживаться по игрушечным лавкам и прислушиваться к людским разговорам.

– Я не мог удержаться, – виноватым тоном сказал Дик. – Вас здесь не было, и я чувствовал себя одиноким в эти длинные вечера. Не может же человек вечно работать.

– Но человек может пойти в трактир и выпить.

– Я жалею, что не сделал этого; но я столкнулся с какими-то людьми, которые называли себя артистами, и я знал, что некоторые из них умели и могли рисовать, но не хотели рисовать. Они угостили меня чаем – чаем, в пять часов пополудни – и в это время говорили об искусстве и своем душевном состоянии. Как будто их души имели какое-нибудь значение! За последние шесть месяцев я слышал больше об искусстве, а видел его меньше, чем за всю мою жизнь. Помните вы Кассаветти, того, который сопровождал один из караванов в пустыню и работал в каком-то из континентальных синдикатов? Он напоминал мне рождественскую елку, когда явился к нам, увешанный всякой амуницией, походной бутылкой, револьвером, походной сумкой, складным фонарем и еще Бог весть чем. Он имел привычку постоянно играть этими вещами, показывать их всем и рассказывать о том, как ими пользоваться; но что касается работы, то

он ничего не делал, а только списывал свои сообщения с донесений Нильгаи.

– Славный старый Нильгаи! Он теперь здесь, в городе, и толще, чем когда-либо. Он хотел быть здесь сегодня вечером. Какое сравнение с этими людьми! Вам не следовало сходиться с этими модными франтами, Дик. Поделом вам, если их разговоры нарушат ваше душевное равновесие.

– Не нарушат! Зато их общество научило меня тому, что такое искусство, святое, чистое искусство!

– Значит, вы чему-нибудь научились в мое отсутствие. Ну, что же такое искусство?

– Это преподносить им то, что они знают, и после того, как вы сделали это один раз, делайте это и впредь. – Дик вытащил на середину холст, стоявший повернутым к стене. – Вот вам образчик искусства. Эта картина будет воспроизведена в одном из еженедельников, за моей подписью. Я назвал ее «Последний выстрел». Это срисовано с маленькой акварели, сделанной мной там, у Эль-Магриба. Я тогда напоил до бесчувствия моего натурщика, великолепного карабинера; я потчевал его до того, что он превратился в растрепанного, одурелого и осатанелого молодца, со шлемом на затылке и живым страхом смерти в глазах, с кровью, сочащейся из резаной раны на ноге. Он не был особенно пригляден, но это был подлинный солдат, и весьма внушительный. И как он был написан!

– О, скромное дитя мое!

Дик рассмеялся.

– Но ведь я только одному вам говорю это. Я написал его, как только умел, и что же? Заведующий художественной частью этого журнала заявил мне, что такая картина не понравится его подписчикам, что мой солдат груб, неизящен, неистов. Человек, бьющийся не на жизнь, а на смерть, должен, видите ли, всегда выглядеть вылощенным франтом, деликатным и любезным! Им желательно что-нибудь более спокойное, более цветистое по краскам. Я мог бы, конечно, многое возразить на это, но лучше говорить с овцой, чем с заведующим художественной частью журнала. Я взял свой «Последний выстрел» назад, и вот, смотрите, что я сделал: я надел на моего солдата прелестный красный мундир,

без единого пятнышка, начистил ему сапоги – видите, как блестят? Это искусство!.. Начистить ружье – ведь в войсках всегда чистят ружья – это тоже искусство! Лицо ему выбрил начисто, руки вымыл и только что не надушил и придал его физиономии выражение сытого довольства и благодушия. В результате получилась модная картинка для военного портного, а денег я за нее получил, благодарение Богу, вдвое больше, чем за мою первоначальную картину, за которую просил умеренную цену.

– И вы намерены выпустить эту вещь за вашей подписью?

– Почему же нет? Я уже сделал это, только в интересах священного доморощенного искусства и «Еженедельника Диккенсона».

Торпенгоу молча курил некоторое время, и затем из тучи табачного дыма, словно удар грома, раздался его приговор:

– Если бы вы были только надутый тщеславием пузырь, Дик, я бы прямо махнул на вас рукой; я бы предоставил вам идти ко всем чертям по избранной вами дороге; но когда я подумаю о том, что вы такое для меня, и вижу, что к пустому тщеславию вы еще добавляете грошовое самолюбие и негодование двенадцатилетней девчонки, я возмущаюсь вами! Вот что!

Холст дрогнул и прорвался под ударом сапога Торпенгоу, а маленький фокстерьер соскочил на пол и ринулся вперед, полагая, что где-то возятся крысы.

– Если хотите выругаться – ругайтесь, но возразить вам нечего. Я продолжаю: вы – идиот, потому что ни один человек, рожденный женщиной, недостаточно силен для того, чтобы позволять себе вольности с публикой, даже будь она в самом деле такова, как вы говорите, а ведь это не так.

– Да ведь она же ничего не понимает, эта публика. Чего же можно ожидать от людей, родившихся и выросших при этом свете? – и Дик указал рукой на желтоватый туман. – Если они желают вместо красок политуру для мебели – пусть и получают политуру, раз они за нее платят. Ведь это только люди, мужчины и женщины, а вы говорите о них, как будто они боги!

– Это звучит очень красиво, но совершенно не относится к делу. Это люди, для которых вам приходится работать волей или неволей. Они ваши господа. Не обманывайте себя, Дикки, вы недостаточно сильны, чтобы издеваться над ними или над самим собой, что еще того хуже. Кроме того… Бинки, назад! Это красная мазня никуда не убежит!.. Если вы не одумаетесь вовремя, эта погоня за чеками погубит вас. Вы опьянеете – да вы и теперь уже опьянели – от легкой наживы, потому что ради этих денег и вашего проклятого тщеславия вы готовы сознательно выпускать плохую работу. Вы и без того создадите достаточно скверной мазни, сами того не подозревая. И так как я люблю вас, Дикки, и вы любите меня, то я не допущу, чтобы вы изуродовали себя даже ради всего золота Англии; это решено. А теперь ругайтесь, если хотите.

– Не знаю, – сказал Дик, – я все время старался рассердиться на вас, но не могу, вы так возмутительно рассудительны. Я полагаю, что в «Диккенсоновом еженедельнике» выйдет скандал.

– Ну какого черта вздумали вы работать на еженедельники? Ведь это же медленное самоотравление!

– Но оно приносит мне желанные доллары, – сказал Дик, засунув руки в карманы.

Торпенгоу посмотрел на него с величайшим презрением.

– И я думаю, что имею дело с человеком! – сказал он. – А это – ребенок!

– Нет, – возразил Дик, быстро повернувшись к нему, – вы не знаете, что значит верный, обеспеченный заработок для человека, который всегда жестоко нуждался в деньгах. Ничто не в состоянии заплатить мне за некоторые былые радости жизни. Помните, на той китайской джонке, перевозившей свиней, где мы питались исключительно только одним хлебом с вареньем, потому что Го-Ванг не хотел нам давать ничего другого, и все пропахло свиньями, – китайскими свиньями! – разве я не работал в поте лица, не голодал рейс за рейсом, месяц за месяцем ради лучшего будущего? Ну а теперь, когда я добился лучшего, я намерен пользоваться им, пока время не ушло. Пусть платят, ведь они все равно ничего не смыслят.

– Но чего же еще желает ваше величество? Курить больше того, сколько вы курите, вы не можете; пить вы не охотник, обжорством вы не отличаетесь.

Одеваетесь вы всегда в темные цвета, потому что это вам идет; держать лошадей, как я вам предложил однажды, вы отказались на том основании, что лошадь может захромать, а каждый раз, когда вам приходится перейти через улицу, вы берете наемный экипаж, и даже вы недостаточно тупы для того, чтобы считать театры, ужины и женщин и все то, что вы можете купить за деньги, настоящей жизнью. Так скажите же мне, на что вам деньги?

– Они должны быть у меня – должны всегда быть под рукой, вот здесь, в кармане! – воскликнул Дик. – Провидение послало мне золотые орешки, пока у меня есть зубы, чтобы грызть их; я еще не нашел ореха себе по вкусу, но я держу зубы наготове. Может быть, мы когда-нибудь вздумаем с вами ради своего удовольствия поскитаться по свету.

– Без определенного дела, без цели, без всякой помехи и без соревнования с какими-нибудь конкурентами, соперниками по ремеслу? Да через неделю с вами нельзя было бы говорить, как с разумным существом, а, кроме того, я бы не поехал с вами. Я не хочу и не желаю пользоваться тем, что куплено ценою души человека, а это было бы именно так. Да что тут говорить, Дик, вы безрассудный безумец, и больше ничего!.. Подите прогуляйтесь и постарайтесь вернуть себе хоть каплю самоуважения, потому что самоуважение всегда остается самоуважением на всем пространстве земного шара! Да, кстати, если зайдет к нам Нильгаи вечерком, могу я показать ему вашу мазню?

– Ну, разумеется. Вы бы еще спросили, можете ли вы, не постучавшись, входить в эту дверь? – И Дик взял шляпу и вышел поразмыслить в одиночестве, в быстро сгущавшемся лондонском тумане.

Полчаса спустя после его ухода Нильгаи с трудом взбирался по лестнице, ведущей в студию. Нильгаи был старейший и тучнейший военный корреспондент, занимавшийся этим делом со времени изобретения этого ремесла. За исключением Кинью, этого великого «Орла Войны», не было человека, равного ему по части военной корреспонденции, и каждый свой разговор он неизменно начинал с вступления, что на Балканах неспокойно и что весной там должны произойти беспорядки.

Торпенгоу засмеялся, увидев его.

– Бог с ними, с беспорядками на Балканах, – начал он, – эти мелкие государства вечно между собой грызутся. А слышали вы об удаче Дика?

– Да, он стал известностью, о нем кричат повсюду, не так ли? Надеюсь, вы сбиваете с него излишнюю спесь. Он нуждается в одергивании время от времени.

– Действительно. Он уже начинает позволять себе некоторые вольности с тем, что он называет своей репутацией.

– Уже? Клянусь Юпитером, прыткий он парень! Я не знаю, какова его репутация, но могу сказать, что он прогорит, если станет продолжать в этом духе.

– И я говорю ему то же самое. Но мне думается, что он мне не верит.

– Они никогда не верят, когда только начинают карьеру… А это что такое у вас на полу?

– Это образец его последней дерзости, – сказал Торпенгоу, приглаживая прорванные края холста и показывая его Нильгаи, который с минуту внимательно посмотрел на него и затем тихонько присвистнул.

– Это хромо-олео-маргаринография, – сказал он. – Как это его угораздило написать такую вещь? А вместе с тем как ловко он уловил тот тон, на который так падка публика, думающая не мозгами, а сапогами и читающая не глазами, а локтями! Спокойная и хладнокровная дерзость этой насмешки почти спасает картину. Но он не должен продолжать в таком духе. Уж не слишком ли его захвалили и превознесли? Ведь вы знаете, что наша публика не знает чувства меры ни в чем, она готова назвать его вторым Мейсонье, пока он в моде, но для молоденького жеребенка это неподходящая диета.

– Я не думаю, чтобы это особенно влияло на Дика. Вы с таким же успехом могли бы назвать молодого волчонка львом и поднести ему этот комплимент вместо сочной кости; но здесь грозит беда самой душе человека. Дик гонится только за деньгами.

– Я полагаю, что, бросив военное ремесло, он не замечает, что обязанности его остались те же и что только владельцы его работ стали другие.

– Где ж ему это видеть? Ведь он воображает, что теперь он сам себе господин.

– В самом деле? Я мог бы разубедить его для его блага, если только печатное слово не утратило своей силы; ему положительно нужна плетка.

– Да, но ее надо умеючи пустить в ход. Я и сам бы выпорол его хорошенько, да слишком люблю его.

– Ну, я не стану церемониться с ним. Он имел дерзость попробовать отбить у меня одну женщину в Каире. Я позабыл об этом, конечно, но теперь могу припомнить.

– И что же? Он и отбил?

– Это вы увидите, когда я расправлюсь с ним. Но, в сущности, какая в том будет польза? Оставьте его в покое, и он сам собой вернется на путь истинный, если в нем есть что-либо доброе. А все-таки я проберу его, и проберу порядком, в нашем «Катаклизме».

– Желаю вам успеха; но я полагаю, что ничто, кроме добрых батогов, не в состоянии образумить Дика. Он страшно подозрителен и не признает никаких законов.

– Это вопрос темперамента. То же самое мы видим и у лошадей: одних вы хлещете, и они слушаются и везут; других вы хлещете, и они брыкаются, а третьих вы хлещете, и они, что называется, ухом не ведут.

– Вот таков именно и Дик! – сказал Торпенгоу. – Дождитесь его, он скоро вернется, а пока вы можете начать здесь вашу критику; я покажу вам кое-что из его позднейших и слабейших работ.

Дик инстинктивно направился к реке, желая рассеять свои думы; он стоял, опершись на каменные перила пристани, и глядел на быстро несущуюся под сводами Вестминстерского моста Темзу. Он задумался было над последними

словами Торпенгоу, но, по обыкновению, отвлекся от этих мыслей и стал изучать лица мимо проходящих людей. У некоторых смерть была написана на лице, и Дик удивлялся, как они могли смеяться; другие, в громадном большинстве неуклюжие и грубые, дышали любовью; а иные были просто изнурены непосильной работой и удручены заботой и трудом. Но Дик чувствовал, что все они представляют собою ценный материал для его работы. Бедняки должны страдать для того, чтобы он, Дик, мог научиться чему-нибудь, мог создать что-нибудь хорошее, а богачи должны были платить за то, что ему даст это учение, за то, что он создаст. И таким образом его слава и текущий счет в банке будут возрастать. Тем лучше для него. Он страдал достаточно и теперь вправе извлекать выгоды из страданий других. Ветер разогнал на минуту туман, и солнце, проглянув, отразилось багрово-красным пятном в воде. Дик не спускал с него глаз до тех пор, пока в журчанье воды между сваями ему не послышался ропот прибоя во время отлива. В этот момент девушка, которую, как видно, усиленно преследовал мужчина, громко крикнула: «Отвяжись, ты, скотина!» Новый порыв ветра погнал густую струю черного дыма от стоявшего у пристани речного парохода прямо в лицо Дику; на минуту дым застлал ему глаза, он быстро повернулся и очутился лицом к лицу с… Мэзи.

Ошибки быть не могло. Годы превратили девочку в девушку, но не изменили ее серых лучистых глаз, тонких пунцовых губ и выразительно очерченных линий рта и подбородка. И как бы для полноты сходства с прежней Мэзи на ней было гладенькое, плотно прилегающее к фигуре серое платье.

Но душа человека не вполне послушна его воле, и в безотчетном порыве Дик, как школьник, невольно крикнул: «Эй!» – а Мэзи отозвалась, как бывало: «О, Дик, это ты?» И прежде чем его мозг успел освободиться от соображений о текущем счете и балансе и передать его нервным центрам какое-либо движение, каждый импульс всего его существа бешено забился и затрепетал и во рту у него пересохло. Туман, рассеявшийся на минуту, снова навис над землей, и сквозь его прозрачную дымку лицо Мэзи казалось жемчужно-белым. Не говоря ни слова, Дик пошел рядом с ней, приспосабливаясь к ее шагу, как бывало во время их послеобеденных прогулок на болотистом побережье моря. Наконец Дик спросил, несколько сипло от скрываемого волнения:

– Что сталось с Амоммой?

– Она сдохла, Дик; не от проглоченных патронов, а просто объелась. Ведь она всегда была страшной обжорой. Не смешно ли?

– Да-а… нет… Ведь ты говоришь об Амомме?

– Да-а… но… как странно… скажи, откуда ты явился? Где ты живешь?

– Вон там, – он указал в сторону западной части города. – А ты?

– О, я, я живу в северной части, там, далеко, за парком. Я очень занята.

– А что ты делаешь?

– Пишу красками, работаю очень усердно. Больше мне делать нечего.

– Как? Что такое произошло? Ведь у тебя было триста фунтов годового дохода.

– Они и есть у меня. Но я занимаюсь живописью, вот и все!

– Ты разве одна?

– Со мной живет еще одна девушка. Не иди так быстро, Дик, ты сбиваешься.

– Так ты это заметила?

– Конечно. Ты всегда не умел идти в ногу.

– Да, это правда. Прости. Так ты все время занималась живописью?

– Ну, конечно. Ведь я же говорила тебе, что займусь этим. Я была сперва у Следа, затем у Мертона в Сент-Джон-Вуде, затем училась в национальной академии, а теперь работаю у Ками.

– Но ведь Ками в Париже!

– Нет, у него есть теперь студия в Витри на Марне. Летом я работаю у него, а зимой живу здесь в Лондоне. Я здесь держу квартиру и хозяйство.

– И много ты продаешь?

– Кое-что, изредка. А вот мой омнибус; я должна ехать, или мне придется ждать еще целых полчаса. Прощай, Дик!

– Прощай, Мэзи. Но разве ты не скажешь мне, где ты живешь? Я должен видеться с тобой, быть может, я сумею тебе помочь. Я… я тоже немного пишу.

– Я, может быть, буду завтра в парке. Обычно я иду от Мраморной арки вниз по аллее и обратно. Это моя обычная маленькая прогулка.

– Конечно, еще увидимся! – И она вскочила в омнибус и скрылась в тумане.

– Будь я проклят! – воскликнул Дик и пошел домой.

Торпенгоу и Нильгаи застали его на лестнице, ведущей в его мастерскую, сидящим на ступеньках и повторявшим эту самую фразу с неподражаемо серьезным видом.

– Вы и будете прокляты, трижды прокляты, после того как я разделаюсь с вами, – сказал Нильгаи, выдвигая свое тучное тело из-за спины Торпенгоу и помахивая перед ним листом свеженаписанной рукописи.

– А-а… Нильгаи! Вернулись? Ну, что на Балканах и во всех маленьких государствах? У вас, как всегда, одна сторона лица припухла.

– Это неважно. А вот мне поручили хорошенько пробрать вас в печати. Торпенгоу не хочет этого сделать из ложной деликатности, а я пересмотрел всю вашу мазню в мастерской и должен вам сказать, что это настоящий позор!

– Ого! Вот как? Но если вы думаете, что вам удастся проучить меня, то вы весьма ошибаетесь. Ведь вы и на бумаге-то неповоротливы, как баржа с грузом. И пожалуйста, поторапливайтесь, потому что я спать хочу.

– Хм… хм!.. Для начала я буду говорить только о ваших картинах; вот мой приговор: «Работа без убеждения, дарование, растраченное на пошлости, труд и время, убитые на то, чтобы добиться легкого, дешевого успеха у одержимой

модой публики».

– Так-с! Это по поводу «Последнего выстрела» во втором издании… Ну-с, продолжайте.

– Все это неизбежно должно привести к одному только концу: к забвению, которому предшествует равнодушие и за которым следует презрение. И от этой участи вы, господин Гельдар, еще далеко не застрахованы.

– Ай, ай, ай, ай! – непочтительно воскликнул Дик. – Окончание неуклюжее и пошлый газетный жаргон, но тем не менее совершенная правда. А все же! – и он разом вскочил на ноги и выхватил рукопись из рук Нильгаи. – Вот что я вам скажу. Вы старый, развратный, беспутный и истрепанный гладиатор, вы, которого посылают, едва только где-нибудь разгорится война, тешить слепые, грубые, зверские инстинкты и вкусы британской публики, у которой нет теперь цирковых арен для гладиаторов, но взамен им дают специальных корреспондентов. Вы тот жирный, откормленный гладиатор, который выходит из боковой дверки и рассказывает о том, что он будто бы видел. Вы стоите на одной доске с энергичным епископом, любезно улыбающейся актрисой и разрушительным циклопом или с моей прекрасной особой, – и после того вы осмеливаетесь поучать меня, клеймить мои работы! Да я поместил бы на вас карикатуры в четырех газетах, Нильгаи, если бы это стоило того.

Нильгаи поморщился: о подобной возможности он не подумал.

– А пока я возьму вот эту мерзость и разорву ее на мелкие клочки – вот так! – И клочья рукописи полетели под лестницу. – А вы идите себе домой, Нильгаи, ложитесь в вашу холодную, одинокую постельку и оставьте меня в покое. Я тоже собираюсь лечь спать и проспать до завтра.

– Да ведь нет еще семи часов! – заметил Торпенгоу.

– Ну, а по-моему, два часа ночи, – сказал Дик, пятясь к дверям своей комнаты. – Я должен бороться с серьезным кризисом, и не хочу обедать.

Дверь закрылась, и замок щелкнул.

– Ну, что вы прикажете сделать с таким человеком? – сказал Нильгаи.

– Оставим его. Он словно бешеный.

В одиннадцать часов кто-то постучал в двери мастерской.

– Нильгаи еще у вас? – послышался голос из студии. – В таком случае скажите ему, что он мог бы выразить всю свою ненужную болтовню следующим афоризмом: только свободные связаны, и только связанные свободны – и затем скажите ему еще, Торп, что он идиот и я тоже.

– Хорошо. А теперь идите ужинать. Ведь вы курите на голодный желудок.

Ответа не последовало.

V

На следующее утро Торпенгоу застал Дика в густых облаках дыма.

– Ну, милый сумасброд, как вы себя чувствуете?

– Не знаю. Все время пытаюсь выяснить этот вопрос.

– Вы бы лучше принялись за работу.

– Может быть, но к чему спешить? Я сделал открытие, Торп: в моем космосе слишком много Ego.

– Неужели? Что же, это открытие вызвано моими нравоучениями или нотацией Нильгаи?

– Я неожиданно натолкнулся на него сам собою. Да, много, слишком много Ego; ну а теперь я примусь за работу.

Он пересмотрел несколько незаконченных эскизов, натянул новый холст на подрамник, вымыл три кисти, поставил Бинки на пятки манекена, поворошил свою коллекцию старого оружия и амуниции и затем вдруг взял и ушел, заявив, что он достаточно поработал на сегодня.

– Нет, это положительно непозволительно! – воскликнул Торпенгоу. – Первый раз сегодня Дик уходит из дома в ясное утро, когда он мог бы писать. Может быть, он открыл в себе душу, или артистической темперамент, или что-либо одинаково ценное и столь же важное. Вот что выходит из того, что он оставался один в течение целого месяца! Может быть, он уходил из дома по вечерам. Это мне надо знать.

И он позвонил старому управляющему, которого ничто не могло ни удивить, ни встревожить.

– Битон, скажите мне, случалось ли мистеру Гельдару не обедать дома во время моего отсутствия?

– Он ни разу не надевал фрак, сэр, за все это время и всегда обедал дома, но раза два он приводил с собой сюда после театра каких-то удивительных молодых людей, замечательных чудаков, говорю вам. Вы, господа жильцы верхнего этажа, вообще мало стесняетесь, но мне кажется, сэр, что спускать с пятого этажа вниз по лестнице трость и затем спускаться за нею вчетвером, выстроившись в ряд, распевая: «Дай-ка водки, душка Вилли!» в два часа ночи, не раз и не два, а десятки раз неделикатно по отношению к другим жильцам. И я говорю: не делай другим того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. Таково мое правило.

– Разумеется, вы правы. Я, действительно, думаю, что верхний этаж не из самых спокойных в этом доме.

– Я не жалуюсь, сэр. Я дружески поговорил по этому поводу с мистером Гельдаром, но он только рассмеялся и подарил мне картину, портрет какой-то дамы – прекрасный портрет, нисколько не хуже олеографии. Конечно, она не так блестит, как лакированная фотографическая карточка, но я говорю: дареному коню в зубы не смотрят… А своего фрака мистер Гельдар давным-давно не надевал…

– Значит, все обстоит благополучно, – сказал себе Торпенгоу. – Оргии вещь полезная, и у Дика крепкая голова, но когда дело доходит до женских глазок, тогда я уже не столь спокоен за него… Бинки, смотри, не превращайся никогда в человека, маленькая собачонка; люди прескверные животные, поступающие совершенно безрассудно.

* * *

Дик направился к северной части города через парк, но мысленно он шел с Мэзи по болотистой низине и громко рассмеялся, вспомнив тот день, когда он изукрасил рога Амоммы бумажными завитками, а Мэзи, побледнев от бешенства, наградила его пощечиной. Какими долгими казались ему в воспоминаниях эти четыре года, и как нежно связан он с Мэзи был каждый час, каждый момент этого времени! Буря на море, и Мэзи в старом платье на берегу откидывает свои мокрые волосы с лица и смеется, глядя, как рыболовные лодки спешат домой, удирая от бури; жаркое солнце стоит над болотистой низиной, и Мэзи сердито и с недовольной гримасой, вздернув подбородок, втягивает носом воздух и говорит: «Отчего это море так скверно пахнет?» Мэзи убегает от резкого ветра, налетевшего на песчаную отмель и гнавшего перед собой песок, который несся в воздухе, как мелкие дробинки; Мэзи со спокойным и уверенным видом плетет небылицы мистрис Дженнет, в то время как он, Дик, поддерживает ее более грубой и наглой ложью, а иногда даже и ложной клятвой. Мэзи, осторожно пробирающаяся с камня на камень по песчаной отмели, с пистолетом в руке и строго сжатыми губами; и опять Мэзи, в сером платье, сидящая на траве, на полпути между жерлом старой крепостной пушки и цветком желтой кувшинки на болоте. Эти картины проносились перед ним одна за другой, и на последней он остановился особенно долго. Дик был вполне счастлив и как-то особенно умиротворен, что для него являлось еще совершенно новым, неизведанным чувством. Ему даже не приходило в голову, что он мог бы лучше использовать это время, в которое он бродил по парку в этот день.

– Сегодня прекрасный свет для работы, – сказал он, благодушно наблюдая за своей тенью. – Какой-нибудь бедняга художник должен был бы дорожить этим светом… А вот и Мэзи.

Она шла к нему от Мраморной арки, и теперь он увидел, что ничто в ее манере и походке не изменилось. Он был рад, что это была все та же Мэзи. Они не поздоровались, потому что и прежде не делали этого.

– Что ты здесь делаешь в это время? – спросил Дик тоном человека, который имел право на подобный вопрос.

– Бездельничаю, как видишь. Я обозлилась на один подбородок и выскребла его, а потом засунула этот холст в кучу другого такого же живописного мусора и ушла.

– Что это был за сюжет?

– Так, просто головка, фантазия, но она мне никак не удавалась, противная!

– Я не люблю писать по выскребленному месту, когда я пишу тело; краски ложатся неровно, и получается шероховатость, когда высохнут краски.

– Нет, если только выскресть умеючи, – сказала Мэзи, делая движение рукой, чтобы изобразить наглядно, как она это делает; на белой рюшке от рукава было пятно краски.

Дик засмеялся.

– Ты так же неряшлива, как прежде.

– Да и ты такой же; посмотри-ка на свои руки!

– Ей-богу правда! Они еще грязней твоих. Я не думаю, чтобы ты вообще изменилась в чем-либо. Однако посмотрим. – И он принялся критически разглядывать Мэзи. Бледно-голубоватая дымка осеннего дня, окутывая пустое пространство между деревьями парка, служила фоном для серого платья и черного бархатного тока на черных волосах, венчавших выразительный и энергичный профиль.

– Нет, ничего не изменилось. Как это хорошо! Помнишь, как я раз прищемил твои волосы дорожной сумкой?

Мэзи утвердительно кивнула головой и, подмигнув, повернулась к Дику лицом.

– Погоди минутку, – остановил он ее, – углы рта как будто несколько опустились. Кто огорчил тебя, Мэзи?

– Не кто иной, как я сама. Я мало продвигаюсь вперед с моей работой, а между тем работаю усердно и стараюсь, а Ками говорит…

– Continuez mesdemoiselles! Continuez toujours, mes enfants! Ками несносный человек! Прошу прощения, Мэзи, я тебя перебил.

– Да, он именно так говорит. Нынче летом он сказал мне, что я теперь работаю лучше и что он позволит мне выставить что-нибудь в этом году.

– Но не здесь, конечно?

– Конечно, не здесь – в салоне.

– Ты высоко летаешь!

– Зато я достаточно долго билась крыльями о землю, – засмеялась она. – А ты, Дик, где выставляешь?

– Я совсем не выставляю. Я продаю.

– А какой твой жанр?

– Да разве ты не слышала? – спросил Дик, глядя на нее широко раскрытыми изумленными глазами. «Неужели это возможно?» – думал он, и он подыскивал какое-нибудь средство убедить ее в своем успехе. Они были недалеко от Мраморной арки, и он предложил: – Пройдем немного по Оксфорд-стрит; я тебе покажу.

Небольшая кучка людей стояла перед витриной хорошо знакомого Дику магазина эстампов.

– Здесь выставлен снимок с одной из моих картин, – сказал он, стараясь скрыть свое торжество. Никогда еще успех не казался ему так сладок. – Вот в каком жанре я работаю. Нравится тебе? – спросил он.

Мэзи смотрела на мчащуюся во весь опор под неприятельским огнем конную батарею на поле сражения. За ее спиной стояли два артиллериста, пробравшиеся вперед к самому окну.

– Гляди, они затянули граснеро! – сказал один из них. – Они ее совсем загнали… Ну, да как видишь и без нее управятся… А передовой-то управляется с конем лучше тебя, Том! Смотри, как ловко он заставляет ее слушаться повода! Молодчина!

– Третий номер вылетит при первом толчке, – заметил другой.

– Не вылетит, – возразил первый, – видишь, как твердо он уперся ногой в стремя. Право, ловкий парень!

Дик следил за выражением лица Мэзи, и душа его преисполнилась радости и чрезмерного упоительного торжества. Ее больше интересовала эта маленькая толпа прохожих, собравшихся у витрины, чем сама картина, привлекавшая внимание этой толпы. То, что высказывала и выражала эта толпа, было ей понятно. Это был несомненный, громадный успех.

– И я тоже хочу такого успеха. О, как бы я хотела добиться его! – сказала она наконец вполголоса.

– И это сделал я, – добродушно-хвастливо сказал Дик. – Посмотри на их лица; моя картина задела их за живое; они сами не знают, что именно так поражает их в этой картине, но я знаю. И знаю, что моя картина хороша.

– Да, я это вижу. О, какая это радость – достигнуть того, чего ты достиг! Это настоящий успех! Да!.. Расскажи мне, Дик, как ты этого достиг?

Они вернулись снова в парк, и Дик выложил своей подруге всю длинную эпопею своих деяний со всей самовлюбленностью и надменностью юноши, говорящего с любимой женщиной. С первых же слов в его рассказе местоимение я замелькало, как телеграфные столбы в глазах путешественника, едущего на курьерском поезде. Мэзи слушала и кивала головкой. История его борьбы, лишений и страданий нисколько не трогала ее. А он заканчивал каждый эпизод своей повести словами: и это дало мне верное представление о колорите, или

же о свете, о красках и тонах, или еще о чем-нибудь, имевшем отношение к его искусству. Не переводя дыхания, он облетел с ней полсвета и говорил так, как он никогда в жизни не говорил. И в пылу увлечения им вдруг овладело желание, безумное желание схватить эту девушку, которая все время кивала головкой, повторяя: «Да, я понимаю. Продолжай!» – схватить ее и унести к себе, потому что эта девушка была Мэзи, и потому что она понимала, и потому что он имел на нее право, и потому еще, что она была его желанная, желанная превыше всякой меры, превыше всякой другой женщины!..

Наконец, он как-то вдруг разом оборвал.

– Итак, я взял все, что хотел, и добился всего, что мне было нужно, – сказал он. – Но все это я взял с боя! А теперь расскажи ты.

Повесть Мэзи была почти так же сера, как и ее платье. Годы упорного труда, поддерживаемого безумной гордостью, которая не позволяла ей признать себя неудачницей, хотя лица сведущие смеялись, а туманы мешали работать, и старик Ками часто бывал не добр и даже саркастично отзывался о ее работах, а девушки из других студий были обидно вежливы. Было и несколько светлых мгновений в виде картин, принятых на провинциальные выставки или нашедших случайного покупателя, но во всем ее рассказе часто-часто звучала тоскливая жалоба: «Вот, видишь, Дик, не было удачи, я не имела успеха, несмотря на то, что работала так упорно и так усердно».

Жалость закралась в душу Дика. Вот так же точно жаловалась ему Мэзи, когда ей не удавалось попасть в цель, в буруны над старыми сваями, за полчаса до того момента, когда она впервые поцеловала его. А это было словно вчера.

– Пустяки, – сказал Дик. – Я хочу сказать тебе что-то, если ты обещаешь поверить моим словам. – Слова эти мчались у него сами собой, без малейшего усилия с его стороны. – Все это, вместе взятое, не стоит одного большого желтого цветка кувшинки на болоте пониже форта Килинг.

Мэзи слегка покраснела.

– Тебе хорошо говорить, ты достиг успеха, ты им насладился, а я нет.

– Так позволь мне говорить; я знаю, что ты меня поймешь. Мэзи, дорогая моя, быть может, это звучит нелепо, но этих десяти лет как не было, и я вернулся к тебе, и все осталось то же, что было прежде, разве ты этого не видишь? Ты одинока теперь, и я тоже. Что пользы сокрушаться и горевать? Лучше приди ко мне, дорогая моя!

Мэзи чертила зонтиком на песке дорожки перед скамьей, на которой они сидели.

– Я понимаю, – медленно протянула она. – Но я должна делать свое дело, должна выполнить свою задачу.

– Так выполним ее вместе, дорогая. Я не помешаю твоему делу.

– Нет, я бы не могла. Это моя задача, моя, моя и моя! Я всю свою жизнь была одинока и замкнута в себе и не хочу принадлежать никому, кроме самой себя. Я все помню не хуже тебя, но это в счет не идет. Мы были оба дети, малые ребята и не знали, что нам предстоит впереди. Дик, не будь эгоистом! Мне кажется, что я вижу перед собой возможность некоторого успеха в будущем году, не отнимай его у меня, не лишай меня этого утешения!

– Прошу извинения, дорогая, я виноват, что говорил глупо. Я, конечно, не могу требовать, чтобы ты отказалась от цели всей твоей жизни только потому, что я вернулся. Я вернусь к себе и буду ждать терпеливо, когда ты меня позовешь.

– Но, Дик, я вовсе не хочу, чтобы ты ушел от меня, ушел из моей жизни теперь, когда ты только что вернулся.

– Я к твоим услугам. Прости меня.

Дик пожирал взглядом взволнованное и смущенное личико девушки. Его глаза сияли торжеством, потому что он не мог допустить мысли, чтобы Мэзи рано или поздно отказала ему в своей любви, раз он ее так сильно любит.

– Это дурно с моей стороны, Дик, – сказала Мэзи еще более медленно и с расстановкой. – Это очень дурно и эгоистично, но я была так одинока!.. Ты не так понял меня, Дик; теперь, когда я опять встретилась с тобой, как это ни глупо, но я хочу удержать тебя подле себя. Я не хочу, чтобы ты ушел из моей жизни.

– Ну, конечно, это вполне естественно, ведь мы же принадлежим друг другу.

– Нет, но ты всегда умел понимать меня, и в моей работе, в моей задаче так много такого, в чем бы ты мог помочь мне. Ты многое знаешь и знаешь, как это делается, и ты должен помочь мне.

– Мне кажется, что я знаю, или же я сам ничего не смыслю; итак, ты не хочешь терять меня из вида окончательно и хочешь, чтобы я помог тебе в твоей работе?

– Да, но помни, Дик, что ничего из этого никогда не выйдет. Вот почему я и чувствую себя такой эгоисткой. Пусть все останется так, как есть. Я так нуждаюсь в твоей помощи, Дик.

– И я помогу тебе. Но прежде давай подумаем: во-первых, я должен видеть твои картины и посмотреть твои эскизы и наброски, чтобы ознакомиться с твоей манерой письма, а тебе следовало бы познакомиться с тем, что говорят газеты о моих работах, и тогда я дам тебе несколько указаний и добрых советов, согласно которым ты и будешь работать впредь. Не так ли, Мэзи?

И снова в глазах Дика засветился проблеск самодовольного торжества.

– Ты слишком добр ко мне, Дик, слишком добр, но это потому, что ты утешаешь себя ложной надеждой на то, чего никогда не будет, а я, зная это, все-таки желаю тебя удержать подле себя. Не упрекай меня за это впоследствии, прошу тебя.

– Нет, я иду на это с открытыми глазами; и, кроме того, «Королева не может быть не права!». Что меня удивляет, это не твой эгоизм, а твоя смелость, что ты решаешься пользоваться мной.

– Ба! Да ведь ты только Дик…

– Прекрасно, я только это, но ты, Мэзи, веришь, не правда ли, что я тебя люблю? Я не хочу, чтобы у тебя создалось какое-то ложное представление, что мы с тобой точно брат и сестра.

Мэзи взглянула на него и затем опустила глаза.

– Это, быть может, глупо, но я верю. Я желала бы, чтоб ты ушел от меня, прежде чем рассердишься на меня. Но… но девушка, которая живет со мной, рыжеволосая импрессионистка, и мы расходимся с ней во всем.

– Как и мы с тобой, я полагаю. Но ничего! Месяца через три мы вместе будем смеяться над этим.

Мэзи печально покачала головой.

– Я знала, что ты не поймешь и тем сильнее ты будешь огорчен, когда убедишься в этом. Посмотри мне в лицо, Дик, и скажи мне, что ты видишь, Дик?

Они стояли и смотрели с минуту друг на друга. Туман сгустился и заглушал или, вернее, смягчал шум городского движения и суеты Лондона по ту сторону ограды парка. Дик призвал на помощь все свое с таким трудом приобретенное знание человеческих лиц и сосредоточил все свое напряженное внимание на глазах, рте и подбородке под черным бархатным током.

– Ты все та же прежняя Мэзи, а я все тот же я, – сказал он наконец. – Оба мы с норовом, но один из нас должен будет сдаться. А теперь поговорим о ближайшем будущем. Мне надо будет когда-нибудь зайти к тебе и посмотреть твои работы, я полагаю всего лучше, когда рыжеволосая девушка уберется куда-нибудь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/redyard-kipling/svet-pogas

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити